# Вещь

2(26)/2022

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

**Поэзия**

Ольга Зондберг

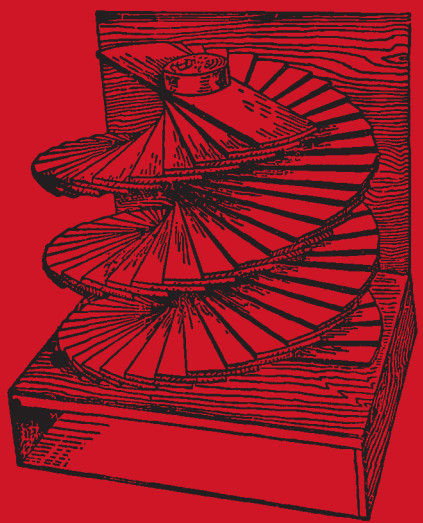
Андрей Черкасов

**Переводы**

Джон Бёрджер

**Нон-фикшн**

Дмитрий Бавильский

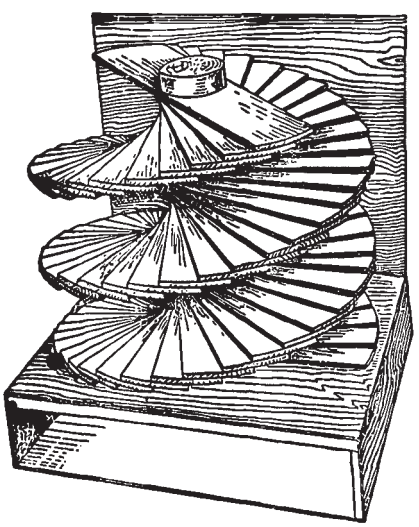


# Вещь

2(26)/2022

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



**Содержание**


**3** ..... **Ольга Зондберг** *В глазах другого (стихи)*

**8** ..... **Юрий Асланьян** *Анчуг (главы из романа)*

**22** ..... **Андрей Черкасов** *Средства бессвязности (стихи)*

**25** ..... **Марта Шарлай** *Ника. Исповедь одной матери (рассказ)*

**33** ..... **Яна Полевич** *В ладони у палача (стихи)*

**36** ..... **Джон Берджер** *Красная шторка Болоньи (перевод Андрея Сень-Сенькова)*

**47** ..... **Аглая Соловьева** *Пуговка из петли (стихи)*

**49** ..... **Дмитрий Бавильский** *Дневники 2022 года (нон-фикшн)*

**79** ..... **Дарья Хомутова** *Знает ли мир, что я за ним наблюдаю? (стихи)*

**83** ..... **Евгений Вердеревский** *Неудачный маскарад (предисловие и подготовка текста Бориса Эренбурга)*

**89** ..... **Борис Эренбург** *Дом Вердеревского (рассказ)*

**93** ..... **Владимир Кочнев** *Снеговик, собака и Достоевский (стихи)*

**96** ..... **Андрей Кудрин** *История в литературе и литература в истории в повести Аркадия Гайдара «Лесные братья» (краеведение)*

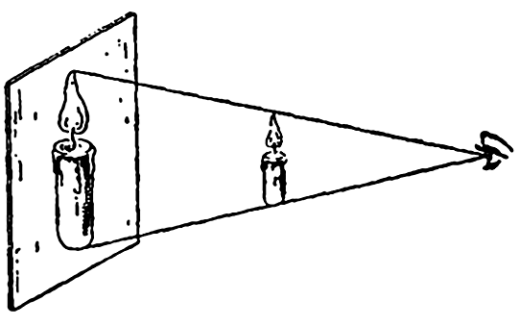
**109** ..... **Марта Шарлай** *Дар бессмертия (о книге Андрея Торопова «Мальчик с пяткой»)*

**117** ..... **Алексей Рачунь** *Жизнь как роман (о книге Светланы Федотовой «Геолог удачи»)*

**121** ..... **Авторы номера**

**Ольга Зондберг**

# *В глазах другого*



## НАТИШЬ

обрывки разговоров
до чего ветхие
к делу не пришьёшь

что-то о пассивности
какого-то народа
и как выросли цены

и что дома больше нет
но удалось уехать
живы слава богу

недоступному
под завалом вздохов
облегчения

## ГРАНИЦА

где род был войск
ползёт наизготовку
с оружием внутри
душевная болезнь
орёт кому-то вдаль
не зарывайся
велит лежать собаке
собака слушается
как страна ложится
на запад головою
лапами на юг
нейтральная земля
сжимаясь разрывает
слова что звуком «йи»
из-под осколочных
повизгивают точек

## СТАТИСТИКА

муторно мне
среднему человеку
на гребне волны
нормального распределения

внизу поговаривают
что здесь неглубоко
(и те и другие)

## Я НЕ ЗНАЮ

можно ли кормить
незнакомыми
словами
и сто первыми
фактами

и как правильно
держать столбиком
новорожденное
стихотворение

случайное дитя
сильных
взаимодействий

## УЛОВКА-2022

империя в которую заходит
к нам с солнцем йорка огненное лето
выкликивая ласточку с весною

## ПЯТНАШКИ

посмотрите
что вы сделали
это не мы
и смотреть
не станем

как в детстве
где мы были
мы не скажем
а что делали
смотрите сами

иногда
приходило
меньшинство
просило
прекратить

## ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

казалось бы русские мальчики
только и скажет
учитель литературы

и свиные глазки
повелителя мух
за спиной на парадном портрете

## В ПОЛНОЧЬ

часы пробили
ход во мраке
наощупь

сказка
ощущается
как страшная

танец
ощущается
как последний

нежность
ощущается
как укрытие

## ANTIBIOTIC RESISTANCE

замечать
запоминать
закрываться

наполнять
поднимать
принимать

кто выживет
продолжит
как может

этими но
не значит
такими же

глазами
руками
словами

## УСПЕТЬ БЫ

без страха и
без торжества
в голосе
подозвать
не призывая
раскинуть руки
не пространства
ловить того кто
скоро будет
уметь ходить
маленькими
приставными
шагами
по сложным
приставочным
конструкциям
невозвеличивания
необожествления
непревознесения

## ДЛЯ ОРЕХОВ, ДЛЯ КОНФЕТ

что нашептала тень с отметками
часам со стрелками
когда иголки были мягкими
а когти мелкими

когда прибыв по месту жительства
подвал освоили
когда сменились обстоятельства
когда позволили

## СОКРОВИЩА АГРЫ

смотрится
в ледниковый приток
умывается
белой облачной глиной

сквозь двойное стекло
окна и движений
горячего воздуха
имеет право

первого взгляда
прежде чем ты
шевельнёшься
в глазах другого

## ГРАЖДАНСКИЕ СУМЕРКИ

до мраморных прожилок
сырой подземки
проводи и вернись —

и нежный бэк-вокал
шелестит вослед
бесстыдному хору

а завтра на проспектах
раздают не проспи
жесты неприсвоения

## ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

соприкасаясь
будем как
поздние цветы
паучьих лилий
на чашечных весах
всех кенотафов
и гибельных мест

## ТЕПЕРЬ ТАК

не переходи
с порога
на язык
любви

опиши
сначала
защитный
круг

мелом
солью
сакральным
матом

## ЗАПОЛНИТЬ

заполнить пропуска нет пропуски простите
построиться в косяк
летит же стая птиц не требуя событий
не извиваясь как

твоей породы гад пригодный для петлянья
шипенья и атак
сидит же кое-кто не требуя вниманья
а не в засаде как

живёт же кто-то там не требуя историй
по версиям сторон
потерянная тварь с бескрайних территорий
бежит свой марафон

## L0VE IS

программа-максимум
немного скрасить
программа-минимум
давно живёт
отдельно

а там такие ливни
не отличить
где скрипка где фиалка

и медленно курсив
строк-посвящений
тяня по нитке
смерть обновляет
адресную книгу

## ISSEY MIYAKE R.I.P.

аромат кориандра
отсюда и в ночь

как дожить
мальчику из Хиросимы
до преклонных лет?

передать
свою смерть
другому

через чёрную
водолазку

## ДИАПАЗ0НЫ

переключая их
старый приёмник
умеет делать так

чтобы ни один
звук не попал
в вечность

чтобы слетелись
случайные
однодневки

(это мы)
и выслушали всё
без остатка

## ТЕБЕ И МНЕ

в одном
двухместном
трёхмерном
многосложном

найдено число
медленно
поднятое
по тревоге

оно вам покажет
репортаж
с места отсутствия
событий

поступь по россыпи
сверхтекучих
сверхценных
колюще-режущих

ничего кроме
нежности и свободы
не вздумайте там
подбирать

## ПРОСТОЙ ПРИМЕР

мы все делители
делительницы
и мелкие
подчертенята

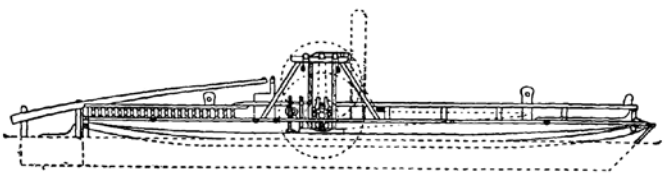
под чертой
отделяющей
от тяжести
чужого

## РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

Слабый полупрозрачный огонь,
выросший кое-как
на отсыревших брёвнах,
в глобальном потеплении
не принявший участия,
медлит, разжившись
сухим нездешним поленом,
не хочет, чтобы всё закончилось,
едва начавшись.

**Юрий Асланьян**

# *Анчуг*



## Вершина 1111

Директор заповедника «Вишерский» Игорь Попов был геологом по профессии и человеком по призванию. После того, как он ушел из жизни, хранителем его памяти стал Валерий Демаков, предложивший назвать одну из гор именем своего старшего товарища. А вот как эта идея появилась — мне рассказал сам Демаков.

Трагедия, произошедшая в горах Северного Урала в феврале 1959 года, оставалась загадочной. Тогда на восточной стороне хребта, в районе истоков речки Ауспия, погибли девять студентов Уральского политехнического института, совершая лыжное путешествие к горному массиву Отортэн.

Отортэн — это начало реки Лусум-Я, известной сегодня как Лозьва.

Река берёт начало на склоне горы Отортэн, главный исток которой выходит из озера, находящегося в ущелье под обрывом сопки.

Лунт-Хусам-Тур — каровое озеро гуся, где гусь — это лунт. В сильный туман или ненастье здесь собираются гуси. Хусап — короб, пещера, каровое озеро. Манси высокие провалы с отвесной стеной называют коробами, русские — мешками.

Легенда гласит. Во время потопа на вершине горы оставался кусочек, на котором только гусь мог устроить себе гнездо.

Другая версия утверждает, будто однажды на озере охотник увидел гуся. Не успел он натянуть лук, как птица нырнула в воду и более не показывалась. В поисках новой дичи охотник обогнул гору и с удивление увидел того же гуся, плававшего в истоке ручья, стекавшего по западному склону. Значит, в горе есть пустота, коробка, пещера. Через нее озеро сообщается с ручьем.

Не надо забывать при этом: в мифологии манси Золотой гусь является одним из духовных образов Мир Суснэ Хума (за миропорядком следящий покровитель). Гусь и лебедь — миротворящие птицы.

Гора и озеро считаются священными. Женщинам эти места посещать запрещено. Обряды поклонения проводятся мужчинами.

Женщины обязаны сушить оленьи жилки для ниток, а мужчины, как писал один старинный путешественник, — в глубине лесов предаваться грубому идолопоклонству. Инородцы — что с них возьмешь.

Николай Васильевич Анямов рассказывал Виктору Мальцеву, будто манси пробовали измерить глубину Лунт-Хусап-Сяхыл — озеро Гуся у Отортена. Связали два аркана по пятнадцать метров, привязали к ним камень и бросили с лодки в воду. Но камень на арканах дна озера не достиг — «вот какая глубина, до самого центра Земли!»

Из официальных источников следовало, что студентов спасатели нашли в конце февраля, у подножия горы Холат-Чахль, однако данные независимых расследований говорили о другом.

Холат-Чахль в переводе с мансийского означает Гора Мертвецов, и название это, по легенде, появилось около 250 лет назад, когда здесь погибли девять путешественников. Точное совпадение — и не последнее.

Терминами «хола — холат» манси называют заплесневелых, замшелых, покрытых мхом мертвецов или скелеты, мумифицированных, высохших, окаменевших.

Манси не бывают на горе Холат-Чахль. По интересу к аномальным явлениям первое место ученые отдают Подкаменной Тунгуске, второе — Горе Мертвецов.

Всемирный потоп — время, когда небо перевернулось и пролилось. Один старик говорил, будто слышал предание, что на этой горе во времена потопа оставалось сухое место наподобие склепа, где через много времени обнаружили останки мертвецов. Другое предание гласит, будто на вершине горы погибло девять манси-оленеводов. Цифра 9 прочно связана с этой горой. В 1959 году здесь погибло девять туристов из Уральского политехнического института. Ведь менквы живут до сих пор, только в другом измерении.

Район горы Отортэн и массив Молебного хребта являются священными для народа манси, чье языческое мировосприятие не приветствует свободный доступ к своим сакральным местам. Все эти обстоятельства легли в основу гипотезы о причинах трагедии, связанной с местью манси или нападением агрессивных менквов.

В то время Валерий Демаков считал более правдоподобной версию о снежной лавине, сход которой, возможно, был спровоцирован ракетным запуском. Лавинная версия была достаточно полно изложена в материалах Игоря Борисовича Попова.

Стартовая площадка могла находиться на одном из учебных пусковых полигонов, расположенных на Урале. «Объект» мог быть обыкновенной болванкой, запущенной с целью отработки точности наведения. Возможно, это был контейнер с начинкой, о содержании которой могут знать только специалисты, и, наконец, заряд определенной мощности. Результат произведенного запуска должен быть проконтролирован. С этой целью на предполагаемом полигоне или в непосредственной близости от него могла находиться группа специалистов военного ведомства.

В архивах города Ивдель родственники погибших обнаружили документы, в которых говорилось, что военные специалисты находились на месте трагедии уже 9–10 февраля 1959 года, то есть за две недели до спасателей.

Военные смогли обнаружить лишь пятерых погибших студентов на склоне горы Холат-Чахль, остальные четверо находились в снежной пещере. Последние были обнаружены значительно позже.

## Рассказ Валерия Демакова

В апреле 2002 года состоялась экспедиция к месту трагедии. В ней приняли участие телеоператоры из Перми. Нелетная погода задержала рейс вертолета на сутки, и журналисты, не теряя времени, решили отправиться на съемку в Усолье. Изумлению не было предела, когда мы узнали, что профессиональный оператор умудрился дважды уронить видеокамеру, вследствие чего она получила травмы, не совместимые с дальнейшим

функционированием. На следующий день мы смогли добраться лишь до метеостанции Мойва, которая находится на западном склоне Молебного хребта, перевал Дятлова был закрыт облаками. Игорь Борисович Попов посоветовал нам отправиться в рекогносцировочный маршрут для оценки работоспособности переносных радиостанций и привязки отдельных объектов с помощью навигатора GPS. Особый интерес представляла вершина, расположенная на пересечении трех хребтов: Ольховочного, Молебного и Ишерима. С нее открывается потрясающая панорама Уральских гор. Навигационный прибор на вершине остановился на отметке 1111 метров в системе Балтийских высот.

На перевал Дятлова вертолет смог доставить нас лишь на третьи сутки. В экспедиции были два участника событий 1959 года. Юрий Ефимович Юдин — десятый член группы Дятлова. Он сошел с маршрута за несколько дней до трагедии, а позже принимал участие в расследовании обстоятельств гибели своих товарищей. Михаил Петрович Шаравин в составе спасательного отряда первым после военных специалистов обнаружил на склоне горы Холат-Чахль палатку группы Дятлова. Кроме того, с нами прилетел доктор географических наук Николай Николаевич Назаров, геоморфолог, специалист по экзогенным геологическим процессам. Цель нашей экспедиции состояла в том, чтобы определить последнее местонахождение палатки погибших ребят и оценить лавинную опасность склона. С первой задачей Михаил Петрович справился без всякого труда, профиль маршрута следования группы вниз по склону, закартированный следователями более сорока лет назад, с точностью повторяет изолинии маршрутной карты. Мнение Николая Николаевича сводилось к следующему. При наличии снежного покрова более двух метров на этом участке регулярно образуются осовы — снежные оползни. При критических нагрузках и благоприятных погодных условиях масса снега самопроизвольно перемещается вниз по склону и останавливается лишь при образовании контрфорсов. На этом участке были обнаружены отдельно стоящие елочки, кора на которых отсутствует со стороны лавиноопасного склона, что является результатом постоянного воздействия перемещения снежного покрова.

Часть нашей экспедиции отправилась вниз по склону на поиски кедра, у которого дятловцы пытались разжечь спасительный костер, а оператор GPS для выполнения привязок поднялся на вершину горы Холат-Чахль. Результат произведенного отсчета по навигатору заставил задуматься даже самых убежденных материалистов. Одна тысяча сто одиннадцать метров над уровнем Балтийского моря! Абсолютная отметка вершины этой горы на картографических материалах разных лет колеблется от 1079 до 1089 метров. Навигационная система GPS, в действительности, при выполнении привязок по вертикали, имеет погрешности в пределах 20–30 метров. Но факт остается фактом, его нельзя путать с субъективными выводами. Два измерения на вершинах священных гор манси, расположенных на расстоянии восьмидесяти километров друг от друга, произведенные с разницей около двух суток, оказались тождественны: 1111 метров!

Отдельно стоящую вершину, от которой в разные стороны простираются Молебный хребет, гора Ишерим и Ольховочный хребет, манси Бахтияровы называют Вышка-Чахль. Здесь еще в прошлом веке стоял триангулятор. Своей идеей назвать эту гору именем Игоря Борисовича Попова, известного геолога и эколога, я поделился с главой рода Бахтияровых, Алексеем Николаевичем. А что, Гога-Чахль, улыбнулся старый оленевод, перефразируя имя Игоря Борисовича, вполне созвучно с мансийскими названиями.

## По дневникам Мальцева

«Пупы — это настоящие боги, а посты есть их двойники, тени, — записывал Виктор Мальцев. — У старика Николая Пеликова прозвище — Хар-Пеликов. Хар — это олень, бык. Прозвище дано за жизнелюбие и непоседливость. В свои 80 он занят делами. И все манси уважают в нем художника».

Хар-Пеликов долго возился у нарт со своим сакральным сундуком. Идолов уже не было, но алтарь не убирали. Видимо, ждали прихода семьи Бахтияровых.

Виктор рисовал и записывал. Храмами народа манси стали горы, а богов они перевозили за собой на нартах. Дул северо-западный ветер глубник, выли между гор бураны, живьем пожирал плоть гнус, целые племена поглощал Всемирный потоп, уносили в небо людей и оленей эпидемии, голод и войны. Налетала буря, они ложились на снег и ждали, когда пройдет непогода. Потом вставали и шли с верой в своих деревянных кукол, закутанных в тряпки и спрятанных в сундуках. Ни западные, ни восточные варвары с ружьями и пушками не сломили их языческую веру.

Роман предложил Виктору полакомиться костным мозгом. Навалил костей в таз. А Ленька с пацанами ушел искать золотой корень.

В обратный путь решили идти по рекам Пурма и Ауспия. Поскольку провести оленей через буреломы визира трудно. По оленьим тропам проще.

Мальчики притащили целый мешок золотого корня — вместе с землей. Роман взялся чистить и мыть добычу. Сказал, будет настаивать его на водке. Виктор обратил внимание на пучки мягкой стружки — мансийские полотенца, которые они используют для мытья эмалированной посуды. Заготавливали ее весной, из мерзлой древесины.

Выход отложили из-за холодной и сырой погоды. Пили чай с лепешками из теста на крови.

Васька Самбиндалов уехал в Оунья пауль.

Виктор ни разу не слышал, чтоб Яшка, сын Ивана, сказал что-нибудь по-мансийски, зато по-русски говорил без акцента. Окончил 10 классов, собирался в армию.

Начали отлов оленей, которых поведут за горы, домой. Но с запада надвинулось озеро тумана, откуда слышался лай собак и частый стук копыт. От оленей при дыхании идет пар. Но дождя нет, поэтому все начали готовиться к отходу. Но вышли только в 17:00.

На севере виден Отортэн. Впереди справа — Тумп-Капай. Миновали перевал. Впереди проявился скалистый гребень. На спуске сделали остановку, чтобы покормить животных. Вошли в карликовый березняк. Дальше деревья стояли побольше, но все равно кривоствольные. Долго петляли, переходили ручьи, потом саму Пурму и наконец вошли в еловый лес. Через двадцать километров остановились, поели жареное мясо и попили чай.

Снова пересекли Пурму. Виктор перенес рюкзак. Потом Тимофея. Он шел с поднятыми голенищами болотников. Шум реки за спиной стих. Началась водораздельная гряда между Ауспией и Пурмой. Отдохнули на старой стоянке, где сохранились старые нарты, на двух из которых лежал разобранный берестяной чум. Владелец этого добра давно умер, а другие теперь пользуются удобными палатками. Так объяснил ситуацию Роман. Развели большой костер, сушили одежду и готовили ужин. Поставили дымокуры для оленей.

Ночью шел дождь. Они с Романом лежали в палатке, остальные с пологами забрались под раскидистые ели и кедры.

Оленевод рассказывал своему русскому другу о народе, который жил на Урале раньше, в такой древности, что еще манси не было в этих лесах. Это был пор — древний этнос, живший одновременно с этносами мис и мось. Оказалось, известная гора из диорита когда-то называлась Порнэ. Хребет Неприступный и весь массив в истоках реки Порнэ-Я и теперь называют Порнэ-Ур — Горный хребет женщины пор. Порнэ — это ведьма, женщина племени пор. А Порнэко переводится с ненецкого как ведьмочка.

Позднее Виктор прочитал, что сказочная Порнэ — персонаж со злыми и даже подлыми чертами характера, постоянно ведет войну с людьми народа мось, устраивает им разные подлости, которые губят ее же саму.

Исследователи писали: в мансийском фольклоре порнэ является характерным персонажем более древних сказок и создает семью с мужчинами соседних этносов. Речь идет о периоде перехода от матриархата к патриархату, поскольку нигде не встречается мужской персонаж Порхум.

Мансийское предание говорит, что даже Порнэ не смогла перейти горный хребет, преследуя предков манси. Возможно, отсюда возник ороним Неприступный. Может, исследователи слышали это предание от мансиоленеводов.

Позавтракали хорошо, поскольку впереди лежал долгий и трудный путь. Камни, расщелины между ними, скрытые мхом так, что ногу можно сломать, переплетения корней. Река Ауспия появилась неожиданно, с мерным рокотом. А вот и галечник, преодолели поток вброд. Дальше началось небольшое болото со столбами комаров. Вскоре вышли на тропу. В полдень остановились у старой мансийской избушки на тропе. Здесь Виктор был четыре года назад.

Ленька и Роман с оленями ушли уже далеко. Задерживаться не стали. Идти тяжело — в лесу становилось жарко и душно. Через три километра еще одна переправа через Ауспию.

Виктор жаждал ветра, но снова начались болота. Сухие участки заросли или были завалены буреломом. Комары, летающая мерзость, готовы были идти на смерть, только бы глотнуть человеческой крови.

Он устал и набил ноги. Наконец вышли к Лозьве — по обоим берегам стояли штабеля бревен. Выше увидели палатки геологов. Начали переправляться. Через два километра услышали лай собак — пауль! За день прошли сорок пять километров.

«Я чувствую, вши, — записал он, — это просто оскорбительно».

Роман сказал, что Ильин день будут праздновать раньше.

Утро солнечное. Ленька пригласил Виктора в юрту, чтобы выпить по стаканчику. Все понятно, они хотят нейтрализовать его, чтобы провести обряд поклонения своим грязным богам без свидетеля.

— Я хочу заняться записями, — ответил он.

На это Ленька тут же бросился ставить его палатку за своей юртой, откуда ничего не видно. Они выпили с ним браги — и манси ушел к себе. Через полчаса Виктор вылез, обошел все избушки, но никого не обнаружил. Однако заметил: из главной юрты исчезли сундук и мешки с богами. Понятно, значит, сейчас манси где-то в лесу. Он не стал торопить события и не пошел искать место, где проходило сакральное действие. Все равно узнаю, где и что, — решил он. Допил брагу в юрте и пошел спать. Часа через три его разбудил пацан. Сказал, что все его ждут. На столе в большой юрте стоял таз с вареным мясом. Бульон в кружках. Налили штрафную водки — потом опять брага. Все были довольны жизнью и крепким сном Виктора.

— Где? — тихо спросил он Романа.

Товарищ проводил Виктора до богов. Тот успел сделать два снимка, как услышали, а потом и увидели идущих к идолам женщин. Пришлось убегать стороной.

На следующий день он поднялся раньше всех и круговым путем снова вышел к жертвеннику. Сразу начал фотографировать, но общий вид композиции его разочаровал. Один из богов был накрыт шкурой и придавлен рогами. Он осмотрел верхнюю часть и понял, что почти точно отразил его в рисунке года три назад. Из сундука вытащил второго бога и долго бегал по поляне в поисках места для съемки. Наконец насадил его за пояс на тонкий пень и сделал несколько снимков. На алтаре стояла огромная посудина с оленьей кровью. На перекладинах развешены куски свежего мяса. Неподалеку кострище и дрова.

Тем же путем вернулся обратно. В юрте долго сидел и курил, когда манси уже спали. Затем лег сам.

Вообще-то богов мастерили не только из дерева. В одной из юрт он видел на полке духа, куклу из ткани, сидевшую в мешке из лосиной шкуры. Там же находился соболий мех, бывший подарком Святому. Полка находилась у мула — стены напротив входа.

В обед дети природы поели сырого мяса, а он предпочел остаться голодным. Роман показал лисенка, живущего в амбарчике. Виктор разглядел затравленный взгляд зверька, сидевшего среди костей и кусков мяса. Тюрьма оказалась изрядно загаженной. Лисенок бросился в угол и, вцепившись зубами в какую-то перекладину, висел так минуты две, пока

ребята не отодрали его от палки. Он кусался и старался перегрызть веревку, на которой сидел. Наконец лисенка вытащили на свет.

— Осенью я его зарежу и шкуру сниму, — смеялся Роман.

Пили чай в двух палатках. Прием был бедный, но хозяева щедро делились с гостем всем, что у них имелось. Он не ел только сырое мясо.

Виктор вспомнил, что русские, жившие на Урале сто и двести лет назад, выращивали лисиц в клетках, а под конец выкармливания переставали давать им пищу и ломали ноги, чтобы шкурка становилась лучше. Такую можно было легче и дороже продать. Так что моралью тут гордиться некому.

Потом он писал домой.

Манси очень медлительны. Наверно, не уехать сегодня. В полдень они поплыли на Ушму. Виктор дал Роману письмо и телеграмму домой, чтоб тот отослал, а также десять рублей на сигареты. Небо затянулось облачностью, стало прохладно и сухо.

Роман, вернувшись с Ушмы, несколько раз, между прочим, сказал, что река обмелела, а мотор чего-то барахлит. Странно, еще недавно говорил, что работает как часы. Поездка на Вижай отложена на завтра.

Целый день читал Харри Тюрка «Смерть и дождь». За окном моросило. Манси иронизировали над Торумом Ильей, который «погоду напутал». Придется мириться с Романом. Другого пути Виктор не видел, потому что его не было. На сегодня отснято только 16 пленок. Мало! Фото только одного идола. Кроме того, меняя кассеты, обнаружил осколок пленки, который мог поцарапать остальные кадры. Сколько, однако, неудач.

Отчалили в 13:00. Начали спуск по реке. Над водой пасмурно. Появилась Ушма.

Пристали к берегу, Виктор сходил на почту — проверить, отправлена телеграмма или нет. Возвращаясь, увидел: от лодки поднимается офицер — это был Фролов. Капитан приветливо улыбнулся Виктору.

— Ну что, не нашел еще Сорни-Най? — спросил военный. — Столько золота тебе отсюда не вывезти! Только с моей помощью. Я здесь главный!

— Хорошо, — кивнул Виктор, — обязательно сообщу, когда найду Бабу.

Видимо, капитан проверял тяжесть его рюкзака в лодке. Да кто же золото за спиной понесет?

— Ты сам откуда будешь? — спросил офицер.

— Из Перми.

— Не бывал, — качнул подбородком капитан, — сам я из Омска. Служу там, где Родина прикажет.

— Побеги бывают?

— Случаются, только летом. С одной стороны — зэки, со второй — солдаты, с третьей — мансюки. Все сволочи. А ты кто по профессии будешь?

— Художник, — улыбнулся Виктор, — не Ван Гог, конечно, но надеюсь написать что-нибудь достойное. Горы, например…

— Лучше найди Золотую Бабу! — посоветовал офицер. — Мы продадим ее и купим дома, мебель, машины… Представляешь, как жить будем?

— Найду! — пообещал Мальцев и пошел к лодке.

Они плыли вниз по Лозьве. Скалы Семь братьев. Камень Медведь. А вот Скала, где Бахтияров боится, потому что река летит прямо на камень. Новый мост через Лозьву — после Шайтан ямы, у которой два-три поколения назад, как сказал Николай Васильевич, жил один шаман. На Черном перекате сорвали шпонку. Мотор забарахлил около устья Северной Тошемки. Ниже Шайтан Ямы скалы заросли лесом. Изредка пролетали чайки. В заводях плавали кряквы. Ниже появился канюк, которого Виктор определил по вееру хвоста.

В поселке Вижай Виктор купил двенадцать бутылок водки, чтобы забрать с собой на север, в самые верховья. Но Роман привел друзей из лесничества — и началась оргия. Когда запасы кончились, Виктор сказал, что поить гостей больше не будет. Поссорились. Он отказал — и снова ссора. Ночью они стали требовать как свое. Виктор одним ударом разнес главному леснику всю голову.

Ночевали у Михаила Греминского. Утром он проснулся в крови.

Возвращались на север с лесниками… Роман страшно обрадовался, когда Виктор разрешил взять в рюкзаке бутылку «старки». Как же он изменился в последнее время! Хорошо бы встать у Бахтияровых — и тогда ни на Вижае, ни выше по Лозьве делать больше нечего. Мирон и Петр внушали большее доверие, чем другие ровесники.

Роман ловко залез на высокий кедр и сбил дюжину шишек. Побросал их на угли костра. Кипела и капала с них смола.

Виктор записывал: «Тэнайнут — людоед. Лиственница — дерево менква». Там, где этих деревьев много, обязательно живут они. Например, под Чистопом. Об этом же говорят ямы и расщелины между скалами — места ночлежных стоянок менква. А если увидишь расщеленную лиственницу, значит, здесь Торум убил менква или тэнайнута.

Там, где плес у Черной скалы, точно живет менкв. Николай Васильевич рассказал:

«Раньше, в древнее время, жила женщина. Она повелевала населением трех больших рек. У нее были свои порядки. Тогда ведь одежду делали из дерева. Разминали шишку, растущую на березе, из нее и делали. Женщина знала, что одежда людей, сидящих у костра, может загореться от искр. Она ездила по землям трех рек и нюхала — все вынюхивала. Она была нюхающей женщиной — Айтап эква. Если находила такого человека, хватала и тащила его на кладбище. Там хоронила заживо: «Раз одежда этого человека подгорела, значит, он уже житель иного мира». И так продолжалось долго. Но однажды приехали на оленьих упряжках двое манси. Услышали под землей плач — и начали копать. Достали оттуда молодую женщину. «Как же ты там оказалась?» — «Атайп эква меня спрятала туда. Не будет от нее пощады мне!» — ответила спасенная. — «Веди нас к ней!» Подошли они к дому. Женщина вышла навстречу, увидела девушку и бросилась на манси. Но оленеводы накинули ей на шею петлю, а ноги связали кожаной веревкой. Концы прикрепили к двум упряжкам. И потащили олени веревки в стороны. Отлетела голова у Атайп эква и закатилась в гнилое болото. С тех пор легче стало жить манси на земле».

Лесники сказали, будто в верховьях Пелыма живет Петька Куриков, молодой подслеповатый манси невысокого роста, который знает много сказок.

Выяснилось, Роман пропил деньги, которые Виктор дал ему на продукты в Вижае. Пришлось дать еще пять рублей. Манси уехал в поселок. В это время Виктор достал медвежью шкуру — она начала гнить от сырости. Подержал ее на солнце. Обернул тряпками.

Роман и Васька вернулись ночью. Роман опять оказался пьяным. В чем сразу и сознался. Рано утром их разбудили — приехал лесник Миша Пашин и какой-то поселенец из Ушмы. Они сказали, что, узнав от Лукова о нашем тяжелом положении, сразу поплыли к нам. Скорее всего, они узнали о водке, которая тут есть. Загрузили сломанный мотор и поплыли в Ушму. По дороге убили двух уток, сварили суп и выпили бутылку. Еще бутылку Роман отдал поселенцу за услугу. До Трескольья шли пешком. Сидели у керосиновой лампы. Играли в карты. Туман и дождь. Старик Николай Пеликов сосал чай блюдце за блюдцем. Говорят, раньше один выпивал самовар.

Старик говорил о пубах — домашних покровителях. Иногда ими становились находки, потому что манси не верили в случайности. Ты не нашел — тебе ниспослано это — то, что ты обрел в воде или в земле. Кто-то из предков Бахтияровых увидел в прибрежном песке серебряного лося. Который попал туда с неба, будучи молнией. Фигурка стала домашним идолом, передаваясь из поколения в поколение. Такие находки не имели отношения к богам мансийского пантеона, но получали должность духа, которому приносились подарки, которые могли быть необычайно щедрыми: монеты, кольца, серебряные чашки и чарки, а также куски ткани. Жертвы только бескровные, лишь иногда это могли быть животные или птицы.

А Виктор утром впервые в жизни попробовал вареных червей. Когда понял это, пришел в бессильную ярость. Черви оказались в мясе, которое все ели с удовольствием.

Внешне он старался держаться, хотя вши продолжали грызть его плоть, а сомнения

глодали мозг. Но больше всего рушилось сознание от того, что Роман спился совсем и проку от него никакого. Предприятие, на подготовку которого ушел год, терпело крах.

Виктор записывал:

«Манси не имеют ни священников, ни жрецов, ни колдунов. Богослужение ведет глава семьи. В каждом пауле имеется свое место для жертвоприношения. Кругом черепа и полусгнившие лошадиные шкуры.

Вогулы верят в то, что смерть есть божественное наказание. Они прячут своего идола в лесу и достают только на время жертвоприношений. Утаивание богов, скорее всего, есть защитный механизм психики, чем реальный обычай. Медведь — младший брат бога Торума. Каждый праздник отмечается до шести дней».

Юрту окутывал полумрак. Николай играл на санквалтапе. Маленькие девочки поочередно танцевали, накрыв голову платком. В юрту заносило дым от горящей за порогом гнилушки — середина августа, а комаров все еще много.

Единственное, что Виктору еще хотелось, это посетить юрты Бахтияровых на реке Витим-Ятия, устье которой они и проплыли, поднимаясь к Ушме. А потом Лозьвой спуститься от Вижая до Бурмантово. Материалов, с теми, что хранятся дома, хватит на книгу. Романа нет уже два дня.

Залаяли собаки — это вернулись с гор Коля Пеликов и Вася Куриков. Вася предложил Виктору иди пешком до Суеват пауля, а оттуда к Пелыму, где у него стоит лодка с мотором. Оттуда он собирается спуститься до своих юрт. Петя Куриков, сказочник, живет неподалеку от него.

Пелым… В царское время тамошние жители дорожничали — везли на запад дешевую обскую рыбу и кедровые орехи.

Вася сказал, что получил письмо от Виктора — оно шло до него целый год и пришло изрядно потрепанным. Поэтому писать зимой ему лучше в Бурмантово с пометкой Суеват пауль. Летом он чаще у Верхнего Пелыма. Как ни заманчиво было предложение — он предложил провезти по Пелыму вплоть до железной дороги — от него пришлось отказаться. Поскольку Виктор еще надеялся все завершить на Лозьве. Если Роман не вернется, придется уйти отсюда. Здесь сырость, грязь и вши, которые у всех — зря Роман доказывал, что это достояние Пеликовых. Он и сам вшивый. Виктор, когда ночевал в его спальнике, чувствовал, как все вокруг шевелится.

«Скотина! — думал он. — Надо скорей выбираться отсюда».

Последний снег здесь был 2 июня. Комаров сейчас мало, но каждый такой злой и стоит сотни.

Опять мясо, жаренное в миске. Все говорили по-мансийски, а по-русски — только обращаясь к Виктору. А он в это время внимательно разглядывал куски, чтобы опять не съесть червей. Когда доедал третий кусок, понял, что просмотрел. Или это личинки? Нет, похоже на червей. Он отложил кусок в сторону и начал пить чай. Никто из сотрапезников не смотрел на то, что ест. Сказать было неудобно — и он молчал. Когда обед подходил к концу, Николай Васильевич неожиданно сообщил, что мухи оставляют в теле оленей личинки — получаются черви. Никто не обратил на его слова внимания. Все ели с прежним аппетитом. Мясо здесь трудно хранить. Даже жареное или вареное, оно имело гнилостный запах.

При этом манси почти не болели, а если заболевали, то не лечились, молча принимая судьбу и смерть.

Тот же царский ученый писал, будто обнаружил у многих катаральное воспаление соединительной оболочки глаз (Conjunct, catarrhalis) от постоянного пребывания в дыму, в нескольких семействах — чесотку (Scabies). Один старик приходил с рожистым воспалением предплечья (phlegmone antibrachii), но это было страдание случайное, травматического происхождения. Сифилитических больных не видал ни одного. В одном месте почти четвертая часть жителей была поражена зобом (по языку больных— нечистая шея).

Базедова болезнь — это гормональные изменения, ведущие к психическим сдвигам. Так думал Виктор. В чем же ее причины? Наследственные?

При Викторе поселенец предлагал Мише Пашину убить поселкового кобеля на мясо. Он же неудачно гонялся за ондатрой возле Ушмы. Утверждал, что мясо у нее вкусное. Ели даже лягушек, как французы какие-то.

«Так что народ здесь в большинстве своем сволочь, — записывал Виктор, — сюда свозили весь сброд Союза — вольные, невольные, все равно. Роман перенял жаргон поселенцев и некоторые привычки. Так он убил собаку, переплывавшую реку, разогнавшись и налетев на нее своей лодкой. Просто так. То же самое пытался сделать у Вижая Ленька, но промазал с похмелья».

Но все же к большинству манси Виктор сохранил уважение — это Николай Васильевич, старик Николай Пеликов, Дмитрий Самбиндалов, Мирон и Васька Самбиндаловы, жители Суеват пауля. Однако он видел: близость зэковских зон молодых развращала. Они перенимали нравы, понятия и даже жесты осужденных преступников. Будто наступил последний этап уничтожения манси.

Виктор надеялся, Васька Куриков и его окружение могут заменить ему Романа. Манси быстро обрусевают. О чем говорят сами. Многие девушки предпочитают выходить за русских, оставаясь жить не в лесных паулях, а в поселках. Становятся женами поселенцев или их родственников, поскольку других мужиков здесь нет.

Приехал Роман, мотор не починил, потому что его опять обманули. Но сообщил, что посылки на имя Мальцева уже лежат в Ушме. Настроение хорошее. Доехать с Романом до 53-го квартала на машине с поселенцами. Оттуда до юрт Бахтияровых пять километров. От них уже спуститься на своей резиновой лодке до Бурмантово. На это уйдет не больше недели. Скоро он покинет этот вшивый рай, который уже стал родным.

Лось перевернулся — пора спать. Он лежал в юрте под пологом. Заскрипела дверь, и кто-то вошел. Говорили по-мансийски. Виктор встал и закурил. Это были Роман и Мирон Бахтияров. Роман пошел ставить чайник, а Виктор попробовал говорить с Бахтияровым, но тот отвечал скупо, поглядывал коротко, улыбался заискивающе, но при этом не очень приветливо. Военный китель его изрядно обтрепался, казалось, что держится на одних блестящих металлических пуговицах. Но русские обноски, видимо, казались ему красивыми. Или других не было. У него пышные волосы и вполне европейский нос — не приплюснутый, как у других.

Виктор лег спать снова. Утром его разбудили и налили стопку. Он выпил ее с печалью и отвращением. Манси смотрели на него холодно. Старик Пеликов говорил что-то по-мансийски, указывая на него пальцем. Потом перешел на русский, но заговорил, видимо, на другую тему. Виктор выпил еще и ушел спать дальше. Но Роман не дал ему уснуть.

— Ты можешь пропустить исторический момент! — сказал он.

Виктор выглянул. Манси собрались у одного из сундуков — саньяхов. Он знал, что там хранятся идолы. И главное — Сорт-Хури-Аки.

— Они водкой богов угощают, — прокомментировал Роман.

Манси двинулись обратно. Роман с Виктором отскочили от окна и сели на кровать.

На столе появилась вторая бутылка. Содержимое стаканов, которые подносили богам, перелили обратно в бутылку и принесли в юрту.

— Торум ёт! — сказал Виктор.

— Бутылку ставил не ты, — заметил Мирон Бахтияров, — поэтому говоришь не к месту.

— Он до этого много поставил! — выручил Роман.

Бахтияров замолчал, коротко и зло глянув на Виктора.

Все разъехались. С ним в юрте остался только Петька Бахтияров. Он был сильно пьяным и лез к Виктору целоваться.

«Когда же успел так напиться?» — думал Виктор.

Однако медленно, но верно отношение к путешественнику у Петра менялось. Изо рта текла слюна. Потом появился яд.

— Что ты тут ходишь и вынюхиваешь по нашим юртам? — наконец взорвался он. — Коммунист! Показывай, где твой партбилет? Что фотографируешь тут? В кино будешь показывать? Выспрашиваешь… Наша техника —

олень, через любой бурелом пройдет. Ползаешь тут, записываешь!

Он стоял над Виктором, вцепившись в спинку кровати.

«Если бы ты был в моем доме, — подумал Виктор, — я бы тебя быстро успокоил».

— Зачем ты идешь в горы в тот день, когда никому из вас там делать нечего? Этого никто не должен видеть! Мы вашу Москву слушать не будем, понял? Сейчас бить буду! Что смотришь?

— Пытаюсь определить степень твоего слабоумия.

Петр бросился на Виктора, но тот успел оттолкнуть его ногой — очень хотелось ударить фофана, но сдержал себя. Все-таки в гостях.

Конечно, он давно почувствовал это отчуждение, еще там, в горах, когда дело коснулось религиозных обрядов. Он уже знал, что Петр и Мирон пришли к лагерю в тот вечер, когда он ушел оттуда с манси. Слышал слова недовольства присутствием русь-ойки.

«Теперь слух обо мне пройдет по всем паулям, — подумал он, — экспедицию придется прервать, сделать паузу до следующего года».

Виктор увидел, как вошел Николай Васильевич. Он стоял у дверей и слушал Петьку. Скрылся за своим пологом.

— Ты бы лучше от вшей избавился, патриот! — сказал Виктор и поднес к лицу манси свой большой кулак. — Или я так дам тебе, что они сами попадают, как шишки с елки, понял?

Некоторое время Петька задумчиво смотрел на кулак, потом тихо развернулся и вышел в двери.

— Не обращай на него внимания, — наконец сказал Николай Васильевич, — его уже много раз били за скандальный характер. Ленька вообще его табуретом один раз по башке ударил! Так и убить когда-нибудь могут! Наверно, тебе тоже ударить его хочется? Не надо! Пока сам не начнет. Мы все знаем, что он дурак.

«Однако в горах остались и другие люди, которые думают так же, как Петька, — мелькнуло в голове Виктора. — Не совсем свою песню пел».

Головные платки с монеткой в узле на лбу до этого были на идолах, которые могли иметь до семи таких платков сразу. После обновления нарядов бога их не выбрасывают, а носят сами. Именно такой платок был на Николае Васильевиче, сидевшем напротив гостя.

— А вы не знаете, где находится Сорни-Най? — неожиданно даже для самого себя спросил Виктор. — Золотая Баба?

Николай Васильевич молчал.

— Манси никогда не будет выкапывать из земли или доставать из воды серебряные фигуры зверей, даже зная, где они лежат, — наконец сказал он, — поэтому забудь о Золотой Бабе. И не золотая она вовсе. Она дороже золота. А если возьмешь чужого бога, то можешь заболеть и умереть. Уйдешь навсегда — рыбу ловить…

Через пару часов Петька протрезвел, пришел извиниться, начал приглашать к себе. Ленька увез его на лодке. Когда стемнело, с Ушмы вернулись Роман и Коля. Привезли ему три пачки сигарет «Лайка».

Золотую Бабу искали западные авантюристы еще со Средних веков. Ходил тут такой — Сигизмунд Гильберштейн, написавший позднее книгу на латыни. В первой половине XVI он дважды пересекал хребет, чтобы выйти к Обдорской провинции, где скрывалась, по легендам, Сорни Най. Zlata baba id est Aurea anus, idolum… Золотая баба есть идол в устье Оби. Скульптурный образ женщины, в недрах которой виден ее сын, а глубже — и внук. Кроме того, скульптура издает протяжные звуки, похожие на трубные. Скорее всего, духовой инструмент Сорни Най поет с помощью ветра. На самом деле, где идол находится, тебе никто не скажет, кроме старца из Анчуга. Так утверждают на восточной стороне гор. А где эта территория — тоже тайна, за болотами и озерами, за горами и тундрой. На картах, прилагавшихся к латинскому изданию книги, она нарисована слева от Оби, ближе к Уральскому хребту. Но карты эти похожи на рисунки, где символ Бабы занимает территорию, равную какому-нибудь немецкому княжеству. Автор утверждал, будто обдорские и югорские жрецы обращались к Бабе как оракулу с вопросами, что им делать в том или ином случае. И получали

правильные ответы. Ну, это как судить, если по результатам, то ответ даст демографическая ситуация Югры. А, может быть, они просто не слушались своей Бабы.

По ходу дела выяснилось, что Петька Бахтияров сидел в тюрьме за браконьерство, когда убил пять лосей. Посадил его родной дядя. Своими выходками он похож на Алексея Курикова. Тому Виктор уже бил морду на Усть-Манье по точно такому же поводу.

«Странно, — думал он с грустью, — самые опустившиеся более других радеют за народные традиции».

Виктор записывал:

«В Няксимволе детям преподают мансийский язык. В люльку под ребенка кладут мелкую сухую стружку. На стене в сетке висят березовые наросты — ими иногда окуривают юрту, или жгут их перед богами. Этот запах считается приятным. Николай Васильевич утверждал, что все Бахтияровы выходцы с Вишеры. Он рассказывал про первого среди манси по имени Кира, который жил в верховьях Вижая и имел тысячу оленей. Богатеем был. Лягушка, ящерица и стрекоза являются священными — их ни в коем случае нельзя трогать. Как и трясогузку. Щука тоже — женщина не имеет права резать и потрошить ее — только мужчина».

На Владимирском перекате по Лозьве волны до полутора метров. К возможности пройти его на маленькой резиновой лодке манси относятся с сомнением. Говорят, там погибло 72 человека. Откуда такая точность? В этом месте к берегу подходят отроги Тамуньера. Это на шесть километров выше Бурмантово. Где-то здесь открыто, рассказывал геолог, месторождение золота.

Когда дело касается водки, манси были подобны маньякам — готовы преследовать, пока не добудут, не вырвут из твоих рук бутылку. Поплыли на лодке вниз по реке. У поселка Вижай, убедившись, что, кроме Виктора, русских больше никого, они совершили поклонение Вит-Ялпынг-Ойке. Виктор участвовал тоже. Налили в кружки вина. Некоторое время постояли на берегу, у самой границы воды. Отлили понемногу из кружек в священную воду Вижая. Теперь они — ПУРЛАХТЭНСУЛИ — «угостившие богов бутылкой вина». День закончился оргией.

Утром Виктор отправил домой посылку, простился с манси и местными друзьями. Дальше, до Бурмантово, поплыл на своей резиновой лодке. Плесы с красивыми скальными берегами. Казалось, что плывет медленно, но, глядя на дно, видел, что вода несется быстро. И вот за поворотом он услышал нарастающий рев — это был тот самый Владимирский перекат. Волны он увидел еще издали. Слева высокие скалы. Управляя лодкой одним веслом, он держал по носу — и прошел, слава ойке, опасное место. Не зря столько водки в реку-то вылили.

Ночевал в стогу у Бурмантово. Смотрел на звезды. Вспоминал свой маршрут по дням. Улыбался и думал о том, куда пойдет в следующем году. Очень жалел, что ждать еще долго. Даже вшивый рай может быть настоящим.

Утром выехал на автобусе в Ивдель, к железной дороге.

## Геолог Демаков

Ко мне снова пришел Валера Демаков. Он передвигался в пространстве со скоростью карандаша по карте.

— Где был? — спросил я.

— Школьников на Чувал водил. Недавно вернулись. Сегодня звонит мне мама одного из этих юных туристов и говорит: «Сын после похода четвертые сутки только спит и ест». — «Хорошо», — говорю я. — «А это нормально?» — «Нормально», — отвечаю я. —«А это кончится?» — спрашивает она.

Этот Демаков причастен к установке памятного знака Игорю Попову на водоразделе Оби, Печоры и Камы. Как и к установке камня в месте, где работал еще один Попов, правда, двести лет назад.

Село Промысла ведет свою историю с 1820 года, когда старатели обнаружили золотоносные пески в долине реки Полуденки. Здесь был заложен небольшой прииск. В 1825 году поселок получил официальное название Золотые Промысла. Помимо золота велась добыча и платины.

А 5 июля 1829 года здесь был найден первый российский алмаз — четырнадцатилетним крепостным крестьянином Павлом Поповым, который промывал золото в шлиховом лотке. За полукаратный кристалл подросток получил вольную. Находкой заинтересовались участники экспедиции немецкого ученого Александра Гумбольдта. После Великой Отечественной алмазы добывались тут промышленным способом. Потом, когда алмазы были обнаружены севернее, на притоках реки Вишера, их добыча в Промыслах была прекращена. А золото мыли до 1985 года.

На месте находки первого Российского алмаза в селе Промысла был установлен памятный знак — глыба габбро-диабаза с мраморной плитой. Камень находится на окраине села — без указателей, посреди поляны. А само село расположено на трассе Чусовой — Екатеринбург, на границе Европы и Азии. Кстати, через два года после первого алмаза крестьянин Белоярской слободы Максим Кожевников открыл в долине реки Рефт изумруды. Горщицкое дело — самоцветное.

Валерий Демаков побывал на самой восточной и самой западной точках Европы, на берегах Байкала и на Тибете, на Камчатке и Памире. А по Уралу ходил годами.

Он рассказывал мне о самой высокой вершине Урала, до которой добраться сложнее, чем подняться на нее.

Высота горы Понк-Урр, или Поэнг-Урр, 1895 метров. Переводится как главная вершина Урала. Еще в древнее время один уникальный манси на глаз определил высоту горы Народная. До сих пор неизвестно, как он это сделал. Ведь на Урале сотни вершин, стоящих от Ледовитого океана до степей Казахстана.

Сто лет назад у горы пас своих овец манси, в стаде которого было более пяти тысяч оленей. А в 1927 году Степан Янченко, геодезист Северо-Уральской экспедиции Уралплана и Академии наук, инструментально доказал правоту древнего манси. Тогда же она получила новое название — Народная. Возможно, благодаря созвучию с мансийским названием горы Нораты-Нёр и реки — Нораты.

В нижнем течении и в устье проходили сезонные кочевые дороги, идущие по хребту и через хребет на запад, возле которых обязательно были и оленьи пастбища. Территория вокруг вершины труднопроходима — тут множество болот, озер, стариц, ручьев и речек с бурным течением, с переборами, с порогами, шиверами и перекатами.

Пастухам приходилось переправлять через болотные топи и русла рек свои стада из сотен и тысяч оленей. А следом шел кочевой обоз — анас из нескольких десятков нарт со всем имуществом, управляемый в основном женщинами. С ними старики и дети всех возрастов. В распутицу, в зимние оттепели, в половодье, в летние дождевые паводки приходилось на дороги в топких местах настилать древесину.

С запада этими же путями шли торговые люди. Завоз хлеба и продовольствия в Архангельскую губернию через Урал полностью зависел от состояния этих дорог. Многие километры приходилось норункве — гатить. Дороги имели главный ориентир — в пути обязательно должно быть сено для лошадей (зимой), пастбища для оленей и временный кров для людей. Обессиленные голодом животные просто ложились или падали.

С тех пор этимологию мансийского гидронима Нораты связывают с ней, ведь основанием дороги служили бревна (норыт), уложенные (норым) вплотную поперек пути.

В 1889 году была Высочайше разрешена постройка дороги на средства купца Сибирякова, которому путь с Печоры на Ляпин указал ученый Константин Дмитриевич Носилов, писавший об уральской торговле: «Ситец вместо своего холста из волокна крапивы, сукно вместо налимьей кожи, оленины, разнообразных шкур; сапоги, бродни вместо оленьих пимов и сапог из той же оленьей шкуры; чай, вино, белый хлеб, когда прежде они обходились почти вовсе без хлеба, употребляя мясо и рыбу, всё это потребовало от дикаря средств и средств. Бедный край, бессилие не могли дать этого; дикарь бросился на легкую наживу: обмен… Широкий кредит, открытый торговлей Сибирякова, их окончательно соблазнил… дороговизна…

ещё больше губит вогулов: того, что они достают из своих рек, озёр, того, что они добывают в своих лесах, не хватает для уплаты обмена…»

Район, простирающийся к востоку от горы Народная, защищен высокими горными цепями от северо-западных ветров. Изменяя свое меридианальное направление на северо-восточное, горная гряда Приполярного Урала образует дугу — гигантский амфитеатр.

Тут можно наблюдать такую картину: над северо-западным хребтом водораздела клубятся мощные валы черных туч, в котловине реки Северная Народа стоит теплая солнечная погода. Хребет в этом месте является своеобразной климатической границей.

Под горой Понк-Ур в долину реки Нораты (Народа) манси часто пригоняли стада оленей во время летних и осенних кочевок. Некоторые говорят, Народной гору прозвали еще и потому, что здесь было многолюдно. На Урале много таких тихих и уютных котловин. В советские времена в районе массива Нораты-Нёр пасла своих оленей бригада совхоза «Саранпаульский».

В XVIII веке здесь кочевал ненецкий род Гнивай. О чем писал венгерский ученый Регули.

Неподалеку находится Манси-Нёр, с гигантским гребнем. Мансийская гора. Есть ледник и озеро с бирюзовой прозрачной водой. Оператор Михаил Заплатин описывал: «Нам удалось наблюдать игру света на заснеженной горной крепости. Ранним утром она была малиновая. С восходом солнца становилась оранжевой. Днем выглядывала из-под облаков ослепительно белым кораблем. А к вечеру на снегах Манси-Нёра снова начинались занимательные световые эффекты: стена краснела, обретая иногда кровавый оттенок, после захода солнца окрашивалась в сиреневый тон, наконец, в густых сумерках зеленела». А в ясную ночь ее вершина в темноте белеет громадой на фоне звездного неба.

В кабинете Демакова висели карты и фотографии, лежали камни самых разных пород, на столе — большая лупа в золотистой оправе с ручкой из карельской березы. Он смотрел в монитор компьютера, заваривал чай и разговаривал со мной одновременно.

— Знаешь, что сказал Месснер коллегам, которые упрекнули его в том, что он покорил все Гималайские восьмитысячники и ничего им не оставил? Он сказал им, что они могут сделать траверс этих вершин. Как тебе такой ответ?

Валера смотрел на меня и улыбался — никогда не поймешь, чему он улыбается, то ли моему вопросу, то ли своему ответу.

— Я слышал про человека, который сделал траверс Уральских гор, — наконец ответил он.

— Ну ты сравнил — самые высокие горы в мире и самые низкие!

— А до него этого никто сделать не мог! Горы, болота, непроходимые леса, комары, холод и громадное расстояние в тысячу километров. И самое главное — никакой мировой славы и денег.

Я молчал — возразить было нечего.

— Но это невозможно, — наконец сказал я.

— А он смог! — опять улыбнулся Валера.

— И кто это такой?

— Его звать Виктор Мальцев.

— Имя мне ничего не говорит. Кто он по профессии? Сколько ему лет? Где живет?

— Этого я не могу сказать.

— А откуда тогда знаешь о нем?

— Про этого удивительной судьбы человека мне рассказал Вячеслав Германович Мухтаров, друг и соратник Игоря Борисовича Попова.

Люди из разных геолого-разведочных партий рассказывали, что встречались с ним — по разные стороны гор, кто в Европе, кто в Азии, и на разных широтах, вплоть до Лабытнанги и Ямала. Он стал легендой Уральских гор. Его знали все манси, ханты и ненцы. При этом он всегда ходил один, появлялся в разных местах и исчезал, как призрак.

— Может быть, он — снежный человек?

— Вполне может быть — говорят, он волосатый, здоровый и ростом под два метра. Больше ничего не знаю.

Я видел, что Валера шутит. Хотя он вообще редко шутит. И рассказывает всегда по делу, но весело.

— Да, — покачал я головой, — чего только нет в наших горах. И где он сейчас?

— Спрашивал, никто ничего не может сказать. Его не видели уже несколько лет.

— Может быть, вообще ушел в отшельники.

— Согласен, сейчас таких людей становится все больше. Строят дома в тайге и живут там, рыбачат и охотятся.

— Форма ухода от реальности.

— Или переход в другую.

— А найти его нельзя?

— Думаю — можно только попробовать.

— С чего начнем?

— Может быть, с поиска родных?

— Очень распространенная русская фамилия.

— Происхождение не знаешь?

— Мальцев — от слова «малой» — младший ребенок в семье.

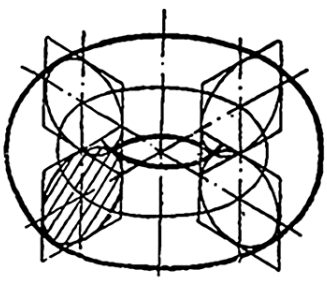
Опять он мне работу подбросил. То кедры спасает от рубки, то кедры садит, то памятник ставит — тому Попову и этому. Все время чего-то ищет, кого-то открывает и увековечивает. Но теперь-то что говорить, когда сам напросился? Назвался груздем — значит, скоро тебя засолят.

Мы разговаривали с ним в офисе, который, как потом оказалось, находился всего метрах в двухстах от дома, где родился Мальцев. Но мы тогда еще не знали об этом.

Так началась история поисков пропавшего путешественника. Которая стала продолжением того, что было, и, возможно, того, что еще будет.

**Андрей Черкасов**

# *Средства бессвязности*



***

что из этого
видите только вы?

я вижу
всё меньше
и меньше

двери открываются

на станции Жулебино
тьма

на станции Выхино
дрожь

в поезде
следующем
в тупик

ежедневное
проживание
в кратких
вспышках

вы находитесь здесь
вы находитесь здесь сейчас

что изменилось?
ничего не меняется

объявление скрыто
и список пуст

только облако
остановилось
над строящейся
развязкой
между Текстильщиками
и Волгоградским проспектом

***

осенний
праздник
фрустрации
назначен
на первые дни
сентября

срок
смерти
перенесён
по совокупности
обстоятельств

отмечен
в ряду
причин

но всё
шаг за шагом
сходит
само

рассыпается
на слабеющем
солнце

гаснет под
отдалённый гул
закольцованной
автодороги

***

анонимная
помощь

всем
уставшим

зависнувшим

всем
случайно
попавшим
сюда

потерявшимся
в этом лесу

всем
лежащим
в этом ручье

катящимся
с этой горы
в бетонных
цилиндрах

***

общим собранием
слов
выбран директор
нехватки сил

заведующий
усталостью

председатель
оцепенения

собственник
тишины

держатель пакета
сухих сожалений

уполномоченный
объявить перерыв
в течении времени
на сигарету-другую

***

субботний
доклад
о новейших
средствах
бессвязности

сквозь белый
шум
не слышно
ни слова

на стене
горит
календарь

внутри шара
для принятия решений
идёт густой снег

вопрос
неподвижен
в темнеющем воздухе

ответ
нацарапан ключом
на обратной стороне
предзакатного сна

***

постановка
проблемы

в отдалении

в виде балета
на льду

слепая копия
соглашения
под тлеющим
торфом

наскоро сшитые
реки

ненадежные укрытия
среди погибших побегов
пшеницы и камыша

предмет
разговора
между волной
и волной
под невнятный
прогноз событий
нового
дня

***

прекращена
вода

остановлен
свет

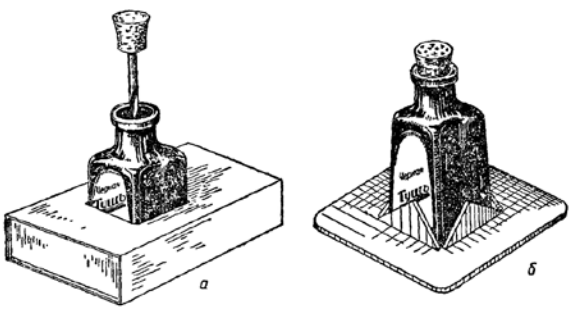
документы
потеряны
вместе
с именем

место события
отмечено
сигнальной лентой
но ничего
не произошло

только сквозняк
поднимает в воздух
частицы пыли
и захлопывает двери
одну
за другой

**Марта Шарлай**

# *Ника. Исповедь одной матери*



## 1

Меня зовут Ника.

Не представляйте стройную и крепкую крылатую богиню. Я не такая. Зачем меня назвали Никой, я не знаю. Впрочем, угадать несложно. Мама хотела, чтобы я побеждала. Папа — тоже. Побеждала! Но я не такая. Всю свою жизнь я проигрываю. Всю свою жизнь я терплю поражение. Всё, что со мной происходит, в конце концов оборачивается ранами, увечьями и — смертью. Да, смертью.

Потому что сейчас я мертва. Я говорю с вами из мира мёрвых. Я — Ника. У меня нет крыльев. Но у меня стройные, крепкие ноги, острый нюх и отличный слух. Я быстро бегаю. Бежать — вот единственное, что дарит мне успокоение. В беге я забываю все свои беды. Когда я сваливаюсь в очередную яму, когда я терплю поражение — я бегу. Бег — моя награда. Беги, Ника! — говорю я себе и мчусь, не замечая ни кустов, царапающих меня, цепляющихся за меня, пытаясь остановить, ни опасности, ни возможной добычи. Я мчусь как стрела — и вот тогда я почти что становлюсь крылатой Никой.

Но у меня нет крыльев. И я никогда не хотела летать. Никогда. Впрочем, в детстве, во сне, я много летала, и мне это нравилось. Когда я была ребёнком, я спасалась полётами, а не бегом, пока однажды я не поняла, что полёты — не моя история. Не моё спасение. Пока однажды я не оттолкнулась от земли, не совершила свой прыжок, пока я не припустила так, что земля закружилась вокруг меня. Всё замельтешило. Я бежала себя не помня. Я думала — там, впереди, пропасть. Я думала — там я найду вечный покой. Я его не нашла.

Покоя у меня нет.

У меня нет крыльев.

У меня нет ничего, кроме имени, которое я помню. И ещё одно воспоминание. О моём ребёнке.

Вы знаете, что такое ребёнок? Маленький мяукающий комочек, в котором в первые дни нет ничего обаятельного, ничего прекрасного, ничего, что дарило бы радость, и всё, что он может, — прижаться к твоим соскам, лежать рядом с твоим животом — и дышать, очень часто. Он не открывает глаз. Он мокрый, как если бы пропитался водой. Ты вымотана, ты только что претерпела боль, которую нельзя описать. Ты не помнишь себя. И вот ты лежишь рядом с ним, и от него — тепло. И вдруг ты понимаешь, что тебе нельзя встать, нельзя пойти, нельзя крикнуть, нельзя застонать, — ничего нельзя, пока он дремлет рядом с твоим животом. Ты голодна, но он нуждается в еде больше. Ты хочешь спать — но он без сна рядом с твоими сосцами просто погибнет. Ты хочешь пойти, но даже если бы ты решилась сделать шаг, невидимая нить натянулась бы, как цепь на деревенской собаке, если бы она подумала уйти со двора. И я лежала. Слабая, измотанная, больная оттого, что я вдруг перестала быть собой. Вчерашней собой, когда даже огромный живот не помешал мне отправиться в неближний путь. Я шла, гордая собой. Я взирала на всех свысока. Вы знаете, как ощущает себя мать? А ведь я вот-вот должна была стать матерью. Нет, в ту минуту я уже была матерью и всё-таки оставалась свободной. Я была прекрасной, крепкой, здоровой, мой ребёнок путешествовал вместе со мной, с моей скоростью.

А назавтра я улеглась под какими-то мокрыми озябшими кустами. Яркие ягоды блестели надо мной, и, когда мне становилось совсем плохо, я представляла, что в них моё спасение — съешь — и придёт освобождение, и я снова буду крепкой и здоровой, снова отправлюсь в дальний путь. Я мучилась сутки, и вот из меня вылезли они — один за другим, — но один сразу отказался принимать этот мир. Он не дышал. Его унесли, и больше я его не видела. Это был мальчик, и он оказался слабее сестры. Девочка только вылезла, мяукнула пару раз, потом запищала, поползла, подбираясь к моим соскам, вот она захватила первый, который учуяла, зачмокала. Вчера я была гордой матерью, а сегодня…

## 2

Я взяла её на руки. Ноги мои одеревенели, я их не чувствовала. Сказали — анестезия скоро отойдёт. Живот тоже болел. Этот шов — безобразный. Я боялась, что он может разойтись. Я боялась пошевелиться, но неодолимая сила толкала меня к этому совершенно некрасивому существу с закрытыми глазами. Девочка не вызывала у меня умиления. Она лежала, спелёнатая как кукла. Это было неприятно. Она выглядела… казённой. Вот именно — казённой. Не моей. Матери говорят о каком-то особом запахе, об умилении… Ничего этого. Я смотрела на неё — и она мне не казалась ни хорошенькой, ни умилительной. Это было просто маленькое существо, почти слепое, завёрнутое в зелёное больничное одеяло, выцветшее от множества стирок, покрытое катышками. Её собственного запаха я не чувствовала — всё заглушал мерзкий больничный дух.

Но я сначала села в кровати, потом спустила ноги на пол. Я сидела, а ноги мои свисали плетями. Я попыталась встать, но тут же осела. Через минуту я всё же смогла удержаться на ногах. Влетела в палату медсестра, стала кричать, что я сошла с ума, что я могу убить ребёнка. Я остолбенела. Я? Убить своего ребёнка? Почему? Я смотрела на неё и не понимала, в чём меня обвиняют. Но медсестра уже нарисовала свою картину, полную ужаса: вот я схвачусь за пластиковую люльку, переверну её, и малышка упадёт прямо на каменный пол. Я стою у кровати. Я только лишь хочу обрести почву под ногами. Я пытаюсь сказать ей, что хочу наконец встать на ноги. Она подходит, чтобы предложить мне свою помощь. Мне не нужна помощь. Я злюсь на неё, она злится на меня. Но сил у меня почти нет — чтобы спорить, чтобы доказывать. Я глотаю свою злость, своё недоумение: кто-то может думать, что я — опасность для своего ребёнка. Я отвергаю её руку и с яростью делаю шаг, ещё шаг, ещё — иду к окну. Моя кровать у двери, около противоположной стены. Иду

через всю большую палату. Там — пахнет весной. Даже сквозь стёкла я чую этот аромат. Почки на деревьях набухли — вот-вот брызнут клейкими каплями новой жизни. Я стою, прижимаясь лбом к окну. Медсестра думает, что мне плохо, что я теряю сознание. Окликает меня: «Эй, тебе нехорошо?» Я не отвечаю ей — у меня нет сил, да и желания тоже нет отвечать. Я хочу остаться одна — наедине с миром и со спящим моим ребёнком. Мне хотелось бы быть сейчас на вершине горы — держать малышку на руках, обдуваться ветром, быть под самыми небесами, слушать, как звенит воздух и шорох камней, ощущать ногами неровную землю, мне хотелось бы быть наедине с миром и с младенцем. Я говорю тихо: «Оставьте меня». И она думает, что я что-то замышляю. «Окна закрыты наглухо», — на всякий случай говорит она. Да, третий этаж. По её мнению, я могла бы совершить прыжок. Я ей ничего не отвечаю. «Мне больно». Мне кажется, я это только подумала, но она подходит ко мне. «Давай-ка я тебя уколю. Отдохни». Она укладывает меня, делает укол в бедро. Я чувствую ещё большую слабость. «Поспи, пока ребёнок спит». Но я хочу, чтобы малышка проснулась. Я не чувствую её дыхания, а мне надо знать, что она жива, что она тут, со мной. Я думаю, смогу ли я выкормить её. Прибудет ли молоко… Я смотрю на неё не отрываясь, но по близорукости не могу рассмотреть. Наконец она шевелится, потом плачет. Медсестра говорит: «Хочешь её покормить?» Я киваю, не в силах ничего сказать, не в силах оторвать от малышки взгляда. Она бережно берёт этот зелёный свёрток, вручает мне, говорит, как лучше приложить к груди, помогает управиться. Малышка не открывая глаз хватает мой сосок. Я перестаю чувствовать боль. Я держу её крепко, сама опираюсь на большую подушку за спиной. Я думаю: вот, теперь у меня есть ты, и ты у меня на руках, и как же мы будем жить?.. Я бы сейчас не прочь посмотреть такое кино — чтобы вся наша с тобой будущая жизнь на экране. Если бы я знала в ту минуту, что будет с нами через месяц, я бы не желала этого. Я саму себя не знала. В ту минуту я была так спокойна, как никогда до и после. Я не думала ни о том, что могу остаться обездвиженной надолго, ни о том, что малышка окажется нездорова, ни о том, что я могу быть дурной матерью — ни единой мрачной мысли в голове. Ни единой. Я смотрела на неё, без умиления, без восторга, удивляясь только тому, что отныне я — мать. Малышка не хотела отпускать сосок. Медсестра сказала — хватит, пора тебе отдохнуть. Но мне было так хорошо, так спокойно. Я держала на руках дитя, к которому привыкала — к весу его, к дыханию, к моим телесным ощущениям, к своему плену…

Наконец ребёнка отняли и положили в люльку. Скоро, скоро я буду очень хотеть, чтобы у меня взяли на время ребёнка, чтобы я могла просто поспать. А пока я спать не могла. Я снова встала, чтобы ходить.

Наконец я почувствовала себя почти что целым человеком. Ноги стали слушаться. Живот уже не болел, просто ныл. Спасибо медсестре — удивительно, что она, обрушившаяся на меня (я думала — она меня презирает, вообще презирает всех нас — распластанных на кроватях, стонущих и умоляющих не дотрагиваться до нас: рука у неё была тяжёлая, и то, как она мяла нам живот — «чтобы кровь не застаивалась, чтобы спаек не было» — было подобно пытке), вдруг стала со мной ласкова, спрашивала, больно ли мне, нужно ли мне сделать укол. И я просила. Не раньше, чем она сама предлагала. Потом, в другой палате, я буду умолять другую медсестру сделать укол, но она ответит — не положено, и я снова почувствую себя распадающейся на части.

Но теперь — о, теперь это было блаженное время. Рядом медсестра с уколом, её тяжёлая, но надёжная рука, малышка дремлет, и я могу спать — но не хочу. Я бродила как призрак, пугая медсестру. «Что ты всё ходишь. Ляг отдохни, спи в конце концов». Но я чуяла перемену погоды: буря должна была прокатиться. Я ходила туда и сюда. Когда малышка заплакала настойчивее, я подумала, что, может быть, стоит поменять пелёнки, и товарки по несчастью (я имею в виду наши распоротые и зашитые животы, а не детей) дивились на меня: «Ты управляешься, словно имеешь уже троих». Это мой первый ребёнок. Тем сильнее было их изумление. Девочка,

впрочем, оказалась сухая. Я высвободила её из пелёнок, завернула в одеяло не так туго, взяла на руки, и тут она успокоилась. Так вот что ей было нужно. Просто оказаться у меня на руках. Я села в кровать и не выпускала её из рук. И тут я почувствовала, как прорастают в меня невидимые нити, как соединяют меня с ней. Мне даже показалось, что, если я попытаюсь положить девочку в люльку, у меня это не выйдет. Я приподняла её, но она тут же закряхтела, издала какой-то не то кашляющий, не то лающий звук. «Да положи ты её в люльку, отдыхай!» — строго сказала медсестра. Но я больше не могла. Она словно стала моей частью. Она была у меня на руках, когда я почувствовала наконец покой. Вот, ты со мной, я с тобой, — подумала я. Этот мир — он такой разный, огромный, странный — но я с тобой, и тебе, надеюсь, здесь понравится.

Мне самой не нравилось здесь многое. Многое. Сколько раз я была на краю, сколько раз мне хотелось прыгнуть со скалы, сколько раз мне хотелось, чтобы вся стая ушла, а меня оставила. Но вот я добралась до нынешнего момента, и больше не имею права желать себе смерти. Вот что я тогда подумала. Выход для меня закрыт.

Я положила девочку в люльку, она полежала там совсем немного, и снова стала скулить. Она не открывала глаз, а мне так хотелось узнать — какие они.

Мы были уже в другой палате, когда нас навестила моя мать. Она стремительно появилась — с огромными запасами еды. Сама я не была ей очень интересна, но малышку она тут же подхватила на руки, стала её качать, сюсюкать с ней. Улыбка не сходила с её лица даже тогда, когда она констатировала — «вся в папу». Это тоже скоро изменится. Но тогда да, она была вся в отца. Ничего моего, казалось мне, ничего моего. Впрочем, разве это удивительно.

Ещё полдня пролетело незаметно. Девочка не спала в люльке больше получаса, плакала, просилась ко мне. Я брала её на руки, предлагала ей грудь, и она с жадностью схватывала сосок. Молока не было, но ей словно хватало тех нескольких капель, что она выжимала своими удивительно сильными для такой крошки дёснами. Ночью, врач сказала, кормить через каждые три часа. Я завела будильник. Но едва только я уснула, раздался плач. Я посмотрела на часы — прошло полчаса. Эту ночь я не спала, через каждые полчаса предлагая малышке грудь. В люльке она отказывалась лежать наотрез. И я держала её на руках, свесив ноги с железной высокой кровати и засыпая. И просыпаясь, вздрагивая, — оттого что едва не падаю.

Тогда я пережила первый мой кошмар — я представила, как я, засыпая, роняю малышку на каменный пол, как она падает — и замолкает… Я испытала такой ужас, что тут же уложила малышку с собой в кровать. «Ни в коем случае не кладите ребёнка с собой», — говорили врачи и медсёстры. Но мой кошмар был убедительнее их запрета.

Ночь так и прошла: малышка спала возле меня, я, скрутившись змеёй, — возле неё. Она то и дело просыпалась, требуя приложить её к груди, и я тут же брала её на руки, усаживалась, опираясь на комковатую неудобную больничную подушку.

Я почти не спала. Невозможно спать, когда тебя будят через каждые полчаса. Через три дня мы оказались дома.

И дом показался мне чужим. Я переступила порог — и не узнала даже запаха. Я ходила по квартире, ощущая её не как крепость, а как место, где мы остановились на постой. Мир вообще изменился.

Я не могла сделать шагу, чтобы малышка моя не потребовала меня к себе. И я брала её на руки и носила, и качала, и давала грудь, и пыталась всё-таки положить в люльку, против которой она люто протестовала.

Спать я тоже не могла.

Паника охватила меня в четверг к ночи (малышка родилась в воскресенье) — молоко никак не прибывало, и ребёнок начал кричать сильнее, требовательнее, нетерпеливее. Ей явно не хватало еды. Я мечтала кормить грудью, кроме того, я знала, что это важно. Я перечитала кучу литературы, которая утверждала, что кормить нужно грудью, потому что именно так формируется привязанность, без которой очень трудно выстроить доверительные отношения.

Меня в младенчестве не кормили грудью. Так уж вышло. Мама не была в этом виновата. Но я изо всех сил противилась тому, чтобы мои отношения с дочкой были похожи на мои отношения с матерью. Я убеждала себя — я должна сделать всё наоборот. Меня не кормили грудью — я буду кормить. Меня оставляли в кроватке одну — я не буду оставлять. Нет, не буду!

Но я послала мужа срочно в супермаркет за самой лучшей детской смесью — на всякий случай. Но когда он принёс большую жестяную банку, я убрала её подальше и, едва не плача вместе с малышкой, всё-таки прикладывала её к пустой груди. Я держалась до последнего. Я знала, что у меня есть спасительное средство, но, пока мы не тонем, мы остаёмся на нашем корабле, пусть и ненадёжном. Наконец ночью я почувствовала: не прилив молока — но то, какой удовлетворённой стала дочка. Она больше не надрывалась от плача у груди. Она принимала мою грудь с большой готовностью и радостью. Моё отчаяние в этот раз закончилось победой. Да, я буду кормить моего ребёнка грудью. Я кормила её — через каждые полчаса. Днём и ночью в течение многих месяцев. Она припадала к моей груди в любой непонятной ситуации. Я не могла носить её в слинге, потому что она тут же чуяла молоко и тянулась к груди, чмокая тонкими губками.

Что чувствовала я теперь, когда мы были дома, в безопасности, когда я — как мечтала — кормила грудью? Тревогу. Каждую минуту, каждую секунду я была готова вздрогнуть от ужаса. Я почти не спала. Невозможно назвать сном то состояние, в котором я пребывала — всегда на границе сна и яви. Не только мой младенец не слишком различал ночь и день, но и я сама. Ночью, мне казалось, она сосала даже отчаяннее, чаще, чем днём, словно боялась, что я окажусь недоступна. Невозможно предполагать. Даже перечитав кучу литературы о младенцах и их взращивании, я не знаю, что испытывала дочка тогда — тогда, когда я, чтобы ей было спокойно, должна была бодрствовать среди ночи. Я помню ту комнату, в какую превратился мой всегдашний кабинет. Кожаное кресло на колёсиках — моё любимое, в которое я так любила забираться с ногами, — передвинулось к тумбочке мужа, на которой раньше были его предметы (всегда брошенные беспорядочно), а теперь там стояли молокоотсос, салфетки, накладки для груди, антисептики, ещё что-то — всё, что нужно кормящей маме. И ещё ночник — знаете, такой — буржуазного типа, с конусообразным абажуром, бежевый, с мраморным основанием в форме вазы. Я любила этот ночник, подаренный мне слишком давно тем, кто мне был дороже мужа. Сейчас его — её — не было рядом. Впрочем, она ничем не могла бы мне помочь, пожалуй. Она говорила иногда в шутку, что мой муж остаётся со мной, чтобы заменять её в быту. Польза от них в этом деле была примерно равная. Но не это главное. Главное то, что в те дни, когда я сидела со своим младенцем на руках, по ночам, в слабом свете ночника, ею подаренного, я совершенно о ней не помнила. Помнила ли я о себе?

Вряд ли. Во всяком случае, не тогда, когда — себя не помня — я встряхнула ребёнка и зашипела на невинное существо: «Да что же тебе нужно от меня! Чего ты хочешь?!» Она кричала. Даже после того, как, казалось бы, должна была уснуть, напившись материнского молока, успокоившись на моих руках. Но едва я положила её в люльку, как она закричала снова — с новой силой. А у меня сил больше не было. Совсем. Ни единого вздоха. Мне хотелось лечь и лежать — не слыша её крики. И тогда я представила, как оставляю её здесь, рядом со спящим — не добудишься — мужем, а сама ухожу в ночь бродить по улицам. Там, где сейчас шумел дождь, я не буду слышать криков, плача, я буду просто шагать по улице, без мысли, без желаний, без чувств. Но в ту же, кажется, минуту я поняла, что нет: там я буду думать о ней, надрывно кричащей здесь, о ней, что зовёт изо всех сил на помощь — не оставлять её в пустоте и темноте, не оставлять её без опоры. Я прижала её к себе, а потом положила — как тогда, в больнице — рядом с собой на диван. Скатала валик из одеяла, чтобы отделить малышку от мужа. Я обняла её и плакала, вспоминая о том, что ведь в детстве я видела в сво-

их зрачках чудовище — чудовище, которое преследует меня, и вот — настигло. Это было в первый раз — когда я сорвалась, когда едва не отреклась.

***

Это было через несколько дней после того, как мы её привезли из роддома. На улице вдруг похолодало, а с системой отопления что-то произошло — авария. Был вечер, сумерки. Я уложила её в люльку и смотрела на неё не отрываясь. Так, словно от того, смотрю я или нет, зависела её жизнь. И вдруг она начала дрожать — всем своим маленьким тельцем. Это был второй момент моего ужаса. Она тряслась так сильно — в буквальном смысле как листочек на ветру, что я почувствовала, как наполняются ужасом мои глаза, как расширяются зрачки. Я запаниковала. Я подумала — а если она умрёт? Ей просто было холодно — холодно, понимаете? Я накрыла её тремя одеялами, и даже после этого она содрогалась. Наконец она согрелась, перестала дрожать. Она спала. Удивительное дело — она мирно спала часа два в тот раз, но я беспокоилась — подходила к ней близко, всматривалась, вслушивалась в её дыхание, трогала её личико, чтобы ощутить теплоту жизни, происходящей в этом миниатюрном мире. Я гладила её — поверх всех одеял.

Сколько книг о младенцах я прочла? И во всех непременно была глава о синдроме внезапной младенческой смерти. Это был кошмар, не отпускавший нас так долго, что даже потом, когда дочка вышла из младенческого возраста, мы всматривались в её спящее личико, вслушивались в её дыхание, трогали её щёки. Ночью я не могла спать не только из-за частых пробуждений на кормление — я боялась. Иногда я даже чувствовала благодарность малютке за то, что она так часто требует меня к себе. Моим кошмаром было проснуться, хорошо выспавшись, и найти в люльке мёртвого младенца. Дочка спала со мной, на диване. Но эта картина — мёртвый младенец в люльке — врезалась мне в глаза, я не могла отделаться от неё. Я лежала, обнимая дочку, — всегда обнимая. Мне казалось, если она будет чувствовать мою руку, она выживет во что бы то ни стало.

Что я чувствовала тогда? Целая лавина чувств владела мной, и в течение дня они сменялись одно другим — иногда с невероятной скоростью. Я просыпалась, умиляясь тому, какая она хорошенькая, разнеженная теплом, которое мы делим на двоих, как она пахнет — собой и мной одновременно (моим молоком), как она пытается разговаривать, выкрикивая с усилием различные слоги: ка, бу, ма, как она улыбается сквозь сон, паутинка которого рвётся на её ресницах. Потом в течение дня я испытывала страх (он нападал на меня в самые разные моменты). На прогулке я боялась того, что какая-нибудь лихая машина собьёт нас, когда я буду переходить дорогу с коляской, потом — что коляска, если вдруг я её отпущу по какой-нибудь причине, полетит под откос, перевернётся, и малышка погибнет или будет сильно покалечена, или — когда она крепко засыпала — что не проснётся. Иногда, хотя и редко, она спала по 2,5 часа — в разгар зимы, в холода. Я гуляла с коляской несколько раз в день в любую погоду, только бы малышка поспала подольше, только бы её сон не был таким прерывистым. В особенно холодные дни я не выдерживала больше 1,5 часов. Но она спала — я осторожно вынимала её из коляски, укладывала на никогда не собираемый диван, распаковывала из зимнего конверта, и она оставалась так спать при открытых окнах, пока я мыла полы, наскоро обедала, стирала и при удаче могла ещё почитать что-нибудь. Она просыпалась резко и тут же настойчиво кричала — требовала грудь. Я кормила её, потом играла с ней, пела ей, читала книжки. Она снова засыпала — уже ненадолго. Тогда я спешила приготовить ужин к возвращению мужа. В 19:30 я укладывала её спать на ночь. Это значило, что она уснёт у груди довольно быстро, я смогу положить её в люльку, но уже через полчаса она проснётся — опять с настойчивым криком, и я должна буду успеть поужинать, прежде чем снова усядусь с малышкой на диван, откинувшись на подушки. С этого момента она будет спать чрезвычай-

но прерывисто, просыпаясь беспорядочно и засыпая только у меня на руках. Иногда с мужем мы смотрели какой-то фильм — я держала малышку на руках у груди, и она спала, пару раз требуя молока.

К вечеру, а особенно к ночи я могла раздражаться так сильно, что снова вставала перед глазами картина того, как я, оставив малышку здесь с мужем, ухожу бродить по ночным улицам.

Я трясла её, я кричала на неё, я выла: больше так не могу!

Я помню, как бросала её на диван, когда она не успокаивалась. Выходила из комнаты. Рыдала. Она тоже кричала, призывая меня вернуться. И я возвращалась, обнимала её, шептала ей «прости, прости меня». В этот момент кошмар набрасывал на меня свой пыльный душный мешок из рогожи. Я представляла, что могла повредить её. Я, я — мать, которая должна защищать её, могла нанести ей вред. Я ненавидела себя. Мне хотелось умереть.

Но страшное впереди.

Однажды — она уже не была младенцем, ходила и даже немного говорила. После дневного сна она время от времени просыпалась в истерике. Не успокоить. И вдруг — опять. Нам надо было куда-то идти. А она не давалась мне, отказывалась, кричала, лежала на полу, колотя ногами. Сейчас я думаю — почему я не придумала какой-то игры? Неужели это было сложно? Нет, я набросилась на неё. Я стояла, расставив лапы — все четыре, наклонив к её личику свою морду, оскалившись, я рычала. Я не смогу забыть этих глаз, полных ужаса. Она на секунду перестала кричать, а потом начала плакать, всхлипывая. Она не шевелилась. Эти глаза привели меня в чувство. Я отпрянула. Потом бросилась к ней, обняла её, целовала. «Прости. Прости. — шептала я ей на ушко. — Мама тебя очень любит, очень-очень».

Каждый раз, когда я выходила из себя, каждый раз, когда я оказывалась над ней, расставив четыре своих лапы, я испытывала гнев и ярость. Но уже через секунду я вылизывала своего ребёнка, обнимала его, а ночью крепко прижимала к своему животу, словно желая, чтобы она спряталась там, внутри меня, как было когда-то — и я не могла причинить ей вреда, и не думала, что когда-то смогу.

Как это можно? Я не испытывала умиления и нежности, но я готова была вступить в бой за неё в любую минуту. Что я и делала, огрызаясь на чужих подросших детей и мамаш, которым мой ребёнок по какой-то причине казался «не таким», «странным».

Мы были одно целое. И как я не желала вступать в общение с посторонними, так и моя дочь избегала чужих и бросалась наутёк от детей, которые проявляли к ней слишком сильное любопытство. Мы играли вдвоём. Мы так резвились, что к нам непременно подтягивались играющие поодаль малыши, просились в нашу игру, но мы их не брали. Нам было тесно с другими. В такие минуты я вспоминала себя другую. Я спрашивала себя: как это возможно? Я не верила. Мне хотелось каким-то образом закрепить себя в этом моменте, когда я и она играем беззаботно, смеёмся, когда нам хорошо, безмятежно, весело. Я умоляла высшие силы оставить меня такой навсегда или уничтожить меня.

Я говорила мужу, что боюсь оставаться наедине с дочкой. Себя боюсь. Я говорила ему, что ей со мной больше небезопасно. Я умоляла его что-нибудь придумать, он только отшучивался.

Он знал, что я бываю груба с ребёнком, но это в пределах нормы, говорил он. Он не видел меня такой, какой меня видела дочка в моменты моего отчаяния. Он бы тоже испытал ужас. Но я становилась такой только с ней наедине. В те моменты на грани, когда лучше бы мне было выходить из квартиры, оставляя её кричать и сучить ногами. Но я разрывалась: между собой, той, которой нужна была свобода, и собой-матерью, которая представляла всё самое страшное, что может случиться с ребёнком так живо, что казалось, будто это и правда происходило. Она то задыхалась в плаче, то падала и разбивалась, и я видела её в луже крови, вот она подавилась, вот она умерла от разрыва сердца, вот я её слишком сильно тряхнула, и у неё что-то случилось с позвонком — и она инвалид. Я ненавидела себя за эти мысли. Мне хоте-

лось, чтобы мне отрубили голову, — не думать. Просыпаться каждое утро — вот мой главный кошмар. Я боялась грядущего дня. Я боялась и обнаружить дочку рядом, и не обнаружить её.

Нет ничего хуже состояния матери, которая готова растерзать саму себя. Эта мать ни дня не живёт без того, чтобы не сожрать кусок собственной плоти. День ото дня она превращается в жалкое мерзкое животное, вроде гиены. Она побирается огрызками роскоши, отброшенной другими. Она знает, что не заслужила лучшего. Она ждёт дня кары. Она приближает этот день как может, потому что боль её становится с каждым днём всё нестерпимей. В любимых глазах своего ребёнка она видит своё отражение — это мерзкий зверь, и когда ребёнок её ласкается к ней, она отталкивает его, чтобы он не заразился тем, что сидит в ней. «Не подходи!» — вот что я кричала своему ребёнку, когда она тянулась ко мне всем тельцем, мурлыкала что-то сквозь слёзы, и из всего можно было разобрать только «мамочка, милая мамочка». Эти слова выжигали раны. Я кусала саму себя, я уходила в какое-нибудь тёмное место и лежала там, боясь пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. А ребёнок мой слонялся, заглядывая в каждый уголок, плача и зовя. Я знала, что нужна ей. Но я не могла выйти ей навстречу.

## 3

Однажды я проснулась и поняла, что потеряла своего ребёнка безвозвратно. Я бегала по дому, разрушая его останки, я искала дочку и не находила. И когда я приблизилась к зеркалу — отпрянула. Я и правда была диким зверем. Я вспомнила, как она заклинала меня: «Мамочка, не будь леопардом, не превращайся! Пожалуйста, не превращайся». Я помню, что, когда это случилось впервые, я засмеялась, я заливалась смехом, думая, что малышка чересчур близко к сердцу приняла нашу игру. Я играла иногда с ней в то, что я превращаюсь в леопарда. Когда на такую игру хватало сил. Когда я могла себя сдерживать.

А сейчас я стояла у зеркала — и пятилась назад, рыча и хрипя.

И тут я заметила её — маленькую, растрёпанную, в пижаме с бабочками. Она смотрела на меня своими огромными глазами, в которых я отражалась совсем иначе, чем в зеркале. Я была громадной, я была грозной (а не пришибленной, как чувствовала себя сейчас). Я легла, не смея приблизиться к ней. Я ждала, что она осмелеет, подойдёт, положит свою ручку на мою морду и позовёт меня. В тот момент я верила, что смогу вернуться. Я верила! Она уселась на пол напротив меня и плакала. А когда я пошевелилась, она закрыла глаза, словно готовясь к худшему. Я ткнулась мордой в её плечико и заскулила. Она не шевелилась. Только сердце бешено билось. Маленькое её сердце. Что я могла сделать? Я должна была уйти, оставить её, но я не могла.

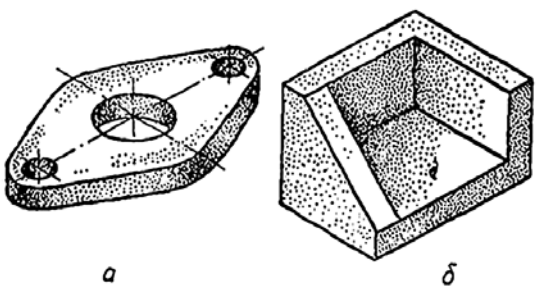
Сначала она боялась меня, но, когда я отошла от неё подальше, забилась в самый дальний угол своего кабинета, она осмелела. Я слышала, как она пошла на кухню, открывала там ящики, находила то, что можно съесть. На столе тарелка с фруктами — она взяла красное яблоко. Красное, не зелёное. Ей нравятся красные яблоки. Они красивые.

Я пролежала так до самого вечера, когда должен был вернуться с работы мой муж. А потом всё-таки толкнула дверь — к счастью, она оказалась не заперта на ключ. Внизу, у подъездной двери, я встретила соседа-пьяницу. Он оторопел, конечно, замахал руками, отгоняя видение. Нужно было куда-то уходить. Уходить. Я делала шаг за шагом от дома, и понимала, что это конец. Мой ребёнок осиротел. Может быть, это к лучшему? Может быть, её жизнь теперь станет лучше?

Я оглянулась на наше окно. Дочка стояла там, прилипнув к стеклу, и смотрела на меня. Она плакала, я чувствовала это. И я рванулась туда. Я стояла у двери и царапала её, рычала и выла. Я умоляла открыть мне. И тут же я поняла, что «леопардиха» (так говорила моя малышка) не может быть матерью человеческого детёныша. Я легла прямо у подъезда, чтобы ждать абсолютного конца.

**Яна Полевич**

# *В ладони у палача*




***

закроешь глаза и увидишь лес

дым разойдётся над крышами
даже где много выше и
там где он стал землёй

водонепроницаемый
я набираю дождя под веки
силюсь прикрыть тишину —
различаю её
из(л)учаю её

(по излучинам ток
и
сподручнее быть тишиной)

*вот тебе терен сплети из него венок*
пока мы сидим
обсыхает в руках кремень

только вот где начинается день
— я не уверен

и
всё будет живо
со мной ли
без

закроешь глаза и увидишь
лес

***

ходили звери плодили сущности
продирали глаза на полях незасеянных,
убоявшись однажды —
втаптывали себя в снега
втаптывали себя в
ансамбли двадцатых годов

ансамбли тридцатых годов
амфитеатры энкэвэдэ,
эти обшарпанные кромлехи, которые
красиво кажется состарились

гармонии — 283 руб. 23к.
патефоны — 171 р. 93к.
фотоаппараты с набором принадлежностей
6 × 9 — 351р., 9 × 12 — 368р.
гармошки — 26 р.

[вместо спящего инертного каменного
массива-монумента — гибкий, динамический,
напряжённый и разумный организм.]

мы когда-нибудь жили
здесь?
мы когда-нибудь жили в организме формы
красного флага?

всё было таким огромным
а мы едим птиц сидим на деревьях
наблюдая за тем как диссоциирует время
мы сожрали нового человека,
а нового-нового пригвоздили к кресту,
когда он ещё даже не родился

[не доходя до «вперёд к коммунизму» —
поверните налево]

[буквы были настолько большие, что их
было видно с площади. они, вероятно, были
высотой с дверь.]

[не доходя до «перестаньте уже плодить
сущности» — поверните направо]

молиться на родину-смерть
барахтаться в пасти и шевелить хелицерами
за родину-смерть?

когда этот текст растворится, обмякнув,
в зените

лёд тронется

***

в день
когда наши с тобой зрачки
могли вместить в себя всё северное
полушарие
а ноги были сделаны из монтажной пены
я пришёл к одной ёмкой словесной истине
из разряда тех
что ушами не услышать
и мозгами не понять
[в тот момент мне удавалось лишь Зреть
и то в половину предсердия]:

у всего должно быть
какое-то
чётко обозначенное слово
слово-взаимодействие
— слово обозначающее одновременно
присутствие наблюдение
взаимозначение
существование

не факт что оно оказалось бы ключом
но факт в том
что оно отвечало бы за все существующие
взаимосвязи косвенно
так или иначе

возникало
Ощущение Глагола
[где-то в районе селезёнки]

всеобъемлющее слово реальности
имело нечто общее
со смехом
клокочущим около уха

желтым прерывистым смехом
фугасных осколков

[объект бессмысленен
как и его отрицание]

у каждого слова
появлялся удельный энергетический вес

теплоёмкость
в самом буквальном смысле этого слова

энергетические центры:
имя, звенеть, значение

имя, звенеть, значение

это были патроны
самого крупного калибра
который только можно было найти
в моём лексиконе

и они
должны были
выстрелить

***

стоит бояться, когда
сердечная сутра
начинает кипеть
из рун:
страшнее только
когда *начинает* молчать

вот тебе
хлябь зимы
в ладони у палача

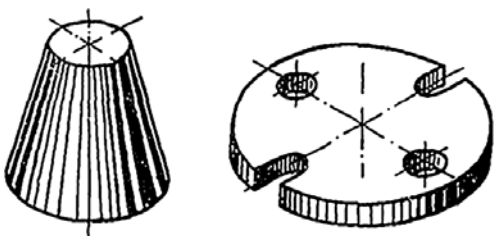
вот тебе
хлябь зимы
в ладони у палача
пока не сошли снега —
расцветают кровоподтёки
человек до веков
обводил свою тень
и так появилось искусство;
так появилось неодиночество,
чтобы с него начинать слова
потом лишь
на аз и на буки

на аз и на буки
как встарь:
идиома разлуки
спокойно мурлычет
копной электричества —
в стенах, в бумаге, мне
нравится, что когда
или если
мы будем гнить
оно будет разговаривать
вместо нас

**Джон Бёрджер**

# *Красная штора Болоньи*

*(перевод Андрея Сен-Сенькова)*



***

Начну с того, как я его любил, как именно, как сильно и какого рода непонимание присутствовало при этом.

***

Эдгар был старшим братом отца. Родился в 80-е годы девятнадцатого века, в те времена, когда королева Виктория стала императрицей Индии. Когда он впервые поселился у нас, мне было лет десять, ему уже за пятьдесят. Но я воспринимал его как человека без возраста. Меняющегося с годами, конечно, не бессмертного, но нестареющего, не привязанного к какому-то периоду в прошлом или будущем. И поэтому, будучи мальчишкой, я мог любить его на равных. Что и делал.

***

Согласно стандартам, по которым меня воспитывали, он был неудачником. Стесненный в средствах, не женатый, невзрачный и, по-видимому, лишенный амбиций. Он управлял очень скромным агентством по трудоустройству в Южном Кройдоне. Главной его страстью было писать и получать письма. Он писал друзьям, дальним родственникам, незнакомцам и людям, которых когда-то повстречал в своих путешествиях. На его туалетном столике всегда лежала книжка с марками. То, что он знал или думал, что знал о мире, завораживало меня. Подростком мне нравился его альтернативный взгляд на вещи, его убогая и, одновременно, королевская неуступчивость.

Мы редко касались друг друга, редко обнимались, наши самые близкие контакты

осуществлялись через подарки. В течение трех десятилетий подарки подчинялись одному и тому же негласному и неписаному закону: они должны были быть небольшими, необычными и адресованными определенным пожеланиям, которые, как известно, есть у каждого человека.

***

Вот случайный список некоторых подарков, которыми мы обменялись:

Нож для вскрытия конвертов.

Пачка бретонских галет.

Карта Исландии.

Мотоциклетные очки.

Бумажное издание «Этики» Спинозы.

Полторы дюжины устриц из Уитстабла.

Биография Диккенса.

Спичечный коробок с египетским песком.

Флакон «Текилы», туалетной воды с ароматом мексиканской пустыни.

***

И еще широкий яркий шелковый галстук, который я повязал на воротник его полосатой фланелевой пижамы. Тогда он умирал в больнице. Я смеялся, чтобы не зарыдать. И он знал, почему я смеялся.

***

Еще я любил его невозмутимость. Он верил в целом и в частности, что лучшее еще впереди. Убеждение, которое трудно поддерживать в двадцатом веке, если только не закрывать на многое глаза. Он повсюду носил с собой три пары очков — каждая была с особыми линзами. Он исследовал все подряд. Он умер в 1972-м.

Был ли он самым уступчивым человеком из тех, кого я когда-либо встречал, или самым настойчивым и независимым? Возможно, он был и тем, и другим. Он никогда не был тем, кто оправдывает ваши ожидания.

***

Он практиковал пельманизм, эсперанто и пацифизм. Он передвигался на старомодном велосипеде с багажником позади, к которому привязывал книги, обмененные или взятые домой из публичной библиотеки Восточного Кройдона. У него было целых три читательских билета в этой библиотеке, так что в любой момент он мог взять по крайней мере дюжину книг.

Прежде чем сесть на велосипед, он надевал на брюки чуть выше лодыжек пару зажимов. Таким образом, у него был слегка индийский вид, хотя кожа была бледной и даже нежной — напоминающей то, что французы называют *le pain au lait* (хлеб с молоком — *прим. переводчика)*. У него не было водительских прав, хотя в течение двух лет, когда ему было тридцать, он водил машину «скорой помощи» на Западном фронте во время Первой мировой.

***

Всякий раз, стоя рядом с ним — в прямом или переносном смысле, я чувствовал себя увереннее. Время покажет, говорил он таким тоном, что я был уверен, да, время покажет то, что мы оба, наконец-то, будем рады увидеть.

***

Помимо написания писем, другой его страстью были путешествия. В те времена многие путешествовали, но туризма как такового еще не существовало. Путешественники, богатые и не очень, сами планировали свои перемещения. Он был скромным, но упорным путешественником. Он верил, что путешествие расширяет сознание. Среди множества прочитанных им биографий я помню биографию Томаса Кука, основавшего первое турагентство. Еще была биография Берлиоза, чья музыка, по словам моего дяди, была, *par excellence*, музыкой путешествия. *Bien sur*. Он

улыбался с какой-то особой гордостью, когда употреблял французские фразы или — реже — итальянские.

***

После раннего ужина в нашей столовой он поднимался наверх и читал в своей крошечной спальне, часто до рассвета. Комнатка была в два раза меньше, чем купе в спальном вагоне. Там был радиоприемник и пишущая машинка, на которой он писал письма и свои размышления, стуча двумя пальцами. Большинство вечеров, когда я был мальчиком и подростком, заканчивалось тем, что я шел пожелать ему спокойной ночи, и часто складывалось впечатление, что нас, по крайней мере, трое в этой комнате с единственным стулом с прямой спинкой (я всегда сидел на краешке кровати, когда мы беседовали). Третьим был либо автор книги, которую читал дядя, либо один из его любимых персонажей книги. Именно в этой тесной комнатке я узнал, что напечатанные слова при чтении могут вызывать чье-то физическое присутствие.

Большая часть того, что читал мой дядя, была связана с путешествиями, которые он планировал, или с теми, из которых вернулся. Шли годы, и он побывал в Исландии, Норвегии, России, Дании и Индии. (Может, я преувеличиваю. Может, пара этих путешествий так и остались в планах и в тех тихих разговорах, что мы вели в его офисе в Южном Кройдоне.) Но он точно ездил в Египет, Гренландию и Италию.

***

Он отправлялся на юг изучать историю, а на север (который предпочитал) — побыть на природе.

В Италии он нашел двух наших кузин, которые работали учителями музыки в Риме. Перед поездкой во Флоренцию читал «Ренессанс» Буркхардта и неделями размышлял, что именно стоит увидеть и в какой последовательности. Планируй работу и работай над планом. Позже он был очарован Болоньей.

***

К тому времени я уже учился в художественной школе и поэтому напомнил ему, что Болонья — это город Моранди. И не успел я это сказать, как в мгновение ока увидел, что он и Моранди вполне могут надевать и носить обувь друг друга, и никто из них не заметит разницы! Оба были не женаты, зато оба в разное время жили с незамужними сестрами. Форма их носов и ртов обладала похожим выражением стремления к близости, которая не является плотской. Им обоим нравились одинокие прогулки, и обоим было любопытно то, что они встречали во время прогулок. Единственной разницей являлось то, что Моранди был одержимым, великим художником, а мой дядя был не художником, а страстным писателем писем.

***

Произнести что-либо из этого было бы дерзостью, поэтому я просто несколько раз повторил, что он должен посмотреть картины Моранди, раз отправляется в Болонью.

***

Очень тихий человек этот Моранди, сказал мне дядя по возвращении.

О чем ты? Он умер. Умер в прошлом году.

Знаю. Я просто смотрел на его картины с горшками, раковинами и цветами. Всё очень продуманом и очень тихо. Он мог стать архитектором, не считаешь?

Да, мог.

Или портным!

Да, мог. Тебе понравился город?

Этот красный цвет, я никогда не видел такого красного, как в Болонье. Ах! Если бы мы знали тайну этого красного… Этот город возвращает к la *proxima volta*.

***

На пьяцца Маджоре несколько ступеней ведут к восточному фасаду базилики Сан-Петронио, которая, как и многие исторические здания Болоньи, построена из кирпича. Столетиями люди сидят на этих ступенях, глазея на то, что происходит на площади, и замечая мельчайшие различия вчерашнего дня от сегодняшнего. Я сижу на этих ступенях.

Транспорта, за исключением велосипедов, нет. Замечаю, что некоторые люди, пересекающие площадь, подходя к ее центру, останавливаются и прислоняются спинами к невидимой воздушной башне, которая тянется к небу, и там они начинают смотреть вверх, на облака или на чистое небо. В разговорах о завтрашней погоде мнения здесь постоянно расходятся.

***

Пятеро подростков демонстрируют свои футбольные таланты, представляя, что вокруг них стадион. Старушка с большим удивлением встречает пятилетнюю девочку, с которой она знакома и которая, кажется, оказалась здесь совсем одна.

Возможно, они живут в одном районе, автобус туда отправляется из центра, в рабочий район, например, в Сан-Донато. Старушка покупает у уличного продавца воздушный шарик для девочки. У шарика тело тигра с черными и желтыми полосками. Он крадется куда-то вперед, паря высоко над головой девочки.

***

Мужчина за пятьдесят тащит два пластиковых пакета — это закупки для его бакалейной лавки — опускает их, наклоняется ко мне и спрашивает, не угощу ли я его сигаретой. Достаю пачку и предлагаю взять несколько штук. У него глаза человека, скорее читающего печатную продукцию, чем разглядывающего здания. Одной достаточно! — настаивает он. Его парусиновые туфли сильно поношены и запылились. Сигарету он зажигает собственной зажигалкой.

***

В Университете, в десяти минутах ходьбы вправо от того места, где я стою сейчас, учатся шестьдесят тысяч студентов. Он был основан в средние века и был первым в Европе светским университетом.

***

Девочка с тигром идет к витринам ***Pavaglione***. Ее шаги как у кошки, как у животного, что парит над ней. Тигры, даже в натуральную величину, выглядят невесомыми при ходьбе. Позади тигра возвышаются две башни, самая высокая из них построена в двенадцатом веке, и высотой она почти сто метров. Во времена Ренессанса в городе было много башен, их строили конкурирующие торговые династии для демонстрации своего богатства и власти. Одна за другой они разрушались и по прошествии столетий можно пересчитать по пальцам сохранившиеся. После того как город был захвачен римлянами в шестнадцатом веке, население познало и бедность, и эпидемии. Ни заработков, ни работы, ни торговли. В последние десятилетия девятнадцатого века благодаря Маркони, его изобретению радио и блестящей инженерной мысли город снова начал процветать и превратился в столицу квалифицированной рабочей силы.

Девочка с парящим тигром так очарована, что, когда она с улыбкой поднимает глаза, я представляю, что она слышит несколько тактов музыки. Болонья — это невероятный город, он похож на пространство, сквозь которое ты можешь пройти после смерти.

***

Я покидаю площадь и бреду на восток, к Университету. По обе стороны улицы тянут-

ся непрерывные сводчатые галереи. Люди здесь спорят не только о завтрашней погоде, но и о том, сколько километров галерей пересекает город. Традиция *портичи*, как здесь называют сводчатые галереи, началась в раннем Средневековье. У каждого особняка перед дверью был небольшой участок земли, выходивший на улицу, и у домовладельцев возникла мысль накрыть их. Таким образом, они могли разместить нежданных гостей, позволить временой прислуге переночевать или же сдать жилье бедным студентам Университета. В то же время жителям понравилось гулять, находясь под навесами и оставляя улицу открытой для фургонов, лошадей и других животных. Со временем горожане убедили богатых домовладельцев гордиться тем, что они предложили улицам. Была введена определенная стандартизация и, таким образом, в конце концов *портичи* превратились в ряды сводчатых галерей.

***

Для тех, кто живет здесь, сводчатые галереи — это своего рода личная программа, построенная из камня, кирпича и булыжника. Вы можете навестить своих кредиторов, свою тайную любовь, своего заклятого врага, свое любимое кафе, свою мать, своего дантиста, местное бюро по безработице, своего старого друга или скамейку, на которой вы регулярно сидите в полном одиночестве, поправляя пластырь, который наложили на больную бородавку на указательном пальце — вы можете делать все это, даже не выходя под открытое небо. И какое это имеет значение для обстоятельств вашей жизни? Никакого. И все же в галереях эхо этих обстоятельств звучит по-другому. А вечером Удовольствие и Отчаяние совершают свою вечернюю прогулку по галереям, идя рука об руку.

***

На всех окнах, мимо которых я прохожу, есть шторы, и все они одного цвета. Красного. Многие из них выцветшие, некоторые новые, но это старые и новые версии одного и того же цвета. Каждая точно подходит по размерам своему окну, а угол ее наклона регулируется в зависимости от желаемого количества света в помещении. Они называются *tende*. Этот красный цвет — не глиняно-красный, не цвет терракоты, это цвет красного красителя. По другую сторону от него находятся тела со своими тайнами, которые на той стороне тайнами не являются.

***

Я хочу купить отрез красного льняного полотна *tende*. Не уверен, что знаю для чего. Может, мне это нужно только для того, чтобы сделать вещественным этот образ. В любом случае, смогу пощупать его, скомкать, разгладить, подержать на солнце, повесить, сложить, помечтать о том, что находится на другой стороне.

Интересуюсь, где подходящий магазин.

Попробуйте поискать в *Pasquinis*, отвечает женщина, рядом с фонтаном Нептуна.

***

По пути туда, на углу бывшего гончарного рынка, прохожу вдоль высокой стены, на которой висят несколько тысяч черно-белых фотографий за стеклом. Портреты мужчин и женщин с именами, датами рождения и датами смерти, напечатанными на их груди, там, где можно было бы послушать сердца, если бы у вас был стетоскоп. Они расположены в алфавитном порядке. Середина двадцатого века. Кто из них предвидел, что его портрет будет размещен рядом с тысячами других мучеников, ряд за рядом, на общественной стене в центре города? Гораздо больше, чем можем предположить. Весь алфавитный порядок знал, что поставлено на карту: в этой области Италии погиб каждый четвертый партизан-антифашист.

* * *

Я читаю некоторые имена, слушая, как они звучат вслух. У большинства лица выглядят уверенными, но вместе с уверенностью чувствуется и боль. Глядя на них, смутно припоминаю строчки из Пазолини. Сейчас, когда пишу, я нашел то, что хотел тогда вспомнить —

*…свет*
*будущего ни на мгновение не перестает*
*ранить нас: он здесь,*
*чтобы заклеймить нас во всех наших*
*повседневных делах*
*тревогой, заклеймить даже уверенность,*
*которая дарует нам жизнь…*

* * *

В 1945-м после свободных выборов Болонья стала коммунистическим городом. И городской Совет остается коммунистическим вот уже пятьдесят лет, побеждая на всех выборах. Именно здесь владельцы были вынуждены допустить рабочие контрольные Комитеты к управлению заводами. Другим следствием (так легко забыть, что политическая практика часто похожа на ткацкий станок, работающий в двух направлениях, в ожидаемом и в неожиданном) стало то, что Болонья сегодня самый сохранившийся город Италии, известный своей скромной роскошью, изысканностью и спокойствием, а также любимый город Европы для проведения торговых ярмарок спортивного инвентаря, модного трикотажа, сельскохозяйственных машин, детских книг и др.

* * *

Магазин *Pasquinis* расположен на углу. С улицы не видно ничего, кроме объявлений: *tessuti lino, cotone e lana, tendaggi*. Внутри все выглядит так, словно за пятьдесят лет ничего не поменялось. Возможно, некоторые ткани, выставленные на продажу, на 75% состоят из акрила, но вы об этом и не догадаетесь.

Здесь три высоких прилавка, а между ними и за ними сотни рулонов цветных тканей, уложенных горизонтально на пол так, что образуют стену. Вы думаете о бревенчатом частоколе. Или загоне для цветов.

За каждым прилавком стоит мужчина в рубашке с короткими рукавами, к его широкому кожаному поясу подвешены пара больших ножниц, метровый стержень и линейка. Прилавки расположены высоко, так что, когда один из продавцов разворачивает рулон ткани и, если клиент одобряет, режет его ножницами, он работает в полный рост, не наклоняясь.

* * *

Передо мной две женщины. Одна из них неуверенно касается бархата, как будто это только что вымытые волосы ее дочери. Другая считает вслух, шагая по половицам, подсчитывая, сколько метров ситца в цветочек ей понадобится.

Рядом с входной дверью находится высокий подиум, на котором установлены табурет, стол и касса. Сидя на табурете, владелец магазина наблюдает за каждой происходящей операцией. В данный момент он читает газету.

Свет, как и тишина, рассеянный, приглушенный, как будто все рулоны ткани за эти годы покрылись очень мелкой, не поддающейся идентификации белой хлопчатобумажной пылью, той самой пылью, которая оседала на предметах, нарисованных Моранди, который, несомненно, знал об этом магазине.

* * *

Когда подходит моя очередь, я объясняю молодому помощнику, чего хочу. Как и его товарищи, он скорее похож на владельца ранчо, чем на торговца тканями. Чтобы извлечь рулон красного полотна, он с поразительной ловкостью перекладывает несколько других. Затем кладет рулон на прилавок и размашисто раскатывает его примерно на метр. Я провожу пальцем по ткани.

Это плотная ткань, произносит он.

Сколько за метр? спрашиваю я.

19 евро.

Ясно. Мне, пожалуйста, 3 метра.

Он снимает ножницы с пояса, снова смотрит на меня, чтобы удостовериться (ошибка может быть еще исправлена), я киваю, и он отрезает. Сложив купленный мной отрез вчетверо, кладет его в сумку, выписывает счет карандашом, также прикрепленным веревочкой к поясу, и кивает в сторону подиума.

***

Беру покупку, достаю из бумажника три банкноты по 20 евро и иду расплачиваться, держа деньги высоко над головой. Владелец наклоняется вперед и вниз, чтобы забрать их у меня, и наши взгляды встречаются. Я узнаю его. Он же делает вид, что меня не узнает. Мне знакомо его заговорщическое выражение лица. В последний раз он делал так, когда я отдавал ему его галстук, прощаясь в больнице. За его бифокальными линзами мельчайшее мерцание левого глаза говорит: увидимся за углом, когда придет время.

***

Не произнеся ни слова, покидаю магазин и возвращаюсь к ступеням на пьяцца Маджоре и уже там рассматриваю то, что приобрел, сравниваю покупку со шторами, которые вижу в окнах верхних этажей домов, окружающих площадь.

Время покажет.

Прокручиваю все в голове. Затем складываю ткань, кладу ее на ступеньку и, вытягиваясь, ложусь головой на покупку, как на подушку, и закрываю глаза.

***

Вместе мы совершили три путешествия, прежде чем мне исполнилось четырнадцать. Один раз в Нормандию, в другой раз мы были в Бретани, а третье путешествие было в Бельгию и Люксембург. Когда мы приезжали в какой-нибудь город — будь то Гент, Руан или Карнак, — после того, как находили отель, забронированный им заранее, происходила специальная процедура. Я бы сказал, ритуал — если бы он не был таким сдержанным.

Мы перекусывали чем-нибудь легким, это мог быть просто небольшой бокал белого вина, а затем шли по улицам, от одного названия к другому, по следу, который он уже оставил. На этом пути были сюрпризы, для меня сплошные, для него ожидаемые. Каналы, похожие на улицы. Виселица. Витрина магазина с белыми кружевами, такими же прекрасными, как звезды самой далекой галактики.

***

Иногда в пути требовалось такси, чтобы отвезти нас через всю страну подбодрить гонщиков Тур де Франс, финишировавших на дневном этапе гонки. Наблюдать за рыбацкой лодкой, отплывающей ночью с причала, и масляной лампой на ее мачте, пламя которой мерцает и никогда не гаснет. Могли лечь в поисках мегалита — как сейчас я лежу на ступеньках пьяцца Маджоре.

Все эти находки, на которые мы наткнулись вместе, были такими же тайными, как завернутые подарки. На самом деле более тайные, потому что, будучи развернутыми, они все равно оставались тайнами. Он прикладывал палец с бородавкой к губам, напоминая мне никогда никому не рассказывать, держать это в себе.

***

Даже в том раннем возрасте я чувствовал, что это нечто большее, чем детская игра. Он узнал, как упорно многие люди отводят взгляд, нейтрализуя то, что их окружает. И один из частых приемов, которые они используют для этого, — настаивают на том, что все должно быть обычным. Преимущество непроизнесенного в том, что его нельзя отрицать. «Бог — это непроизнесенное», — про-

бормотал он однажды вечером в Сен-Мало, потягивая перед сном бенедиктин.

***

На виа Капрари мы находим килограмм пассателли в бумажном пакете, который выглядит так, как будто сделан для хранения трюфелей. После Пасхи, в летнюю жару, болонцы перестают есть слишком тяжелые для желудка лазанью и тальятелле, переходя на пассателли, пасту в бульоне. Нужен список ингредиентов? 400 г панировочных сухарей, 240 г пармезана, 1 чайная ложка муки, 6 яиц, 1 небольшой мускатный орех, 50 г сливочного масла.

***

Чайные ложечки завораживали его, и во время своих путешествий он коллекционировал их. У него было полдюжины чайных ложечек из Дублина, которые он хранил в плоской коробке, похожей на коробку для военных медалей. Внутри нее ложечки лежали на темно-синем бархате.

***

На виа Марсала мы пробуем лучшую мортаделлу в мире. Мортаделла была изобретена здесь в начале 17 века. Ее название происходит от того, что она приправлена миртовыми ягодами. Когда мортаделла хороша, ее едят кусками, а не тонкими ломтиками. С ней надо пить белое вино из Альто-Адидже. Он поднимает свой бокал, чтобы коснуться моего.

***

Теперь выпьем кофе? Торговая лавка на виа Порта Нуова. Здесь, как вы видите, указан год урожая каждого сорта кофе, словно это вина. Бывают хорошие года и не очень. Время покажет. Кофе со всего мира. Бразильский *Sul de Minas*. *Wib* с Явы. Индийский *Parchment*. Но давайте сразу перейдем к лучшему. *Blue Mountain* с Ямайки. Когда получают новую партию этого кофе, ее на ночь кладут в сейф вместе с банковскими купюрами! После его употребления вкус остается во рту в течение пятидесяти минут. И все это время он составляет компанию вашему мозгу.

Ложусь на ступеньки с закрытыми глазами.

Когда вы перестаете чувствовать вкус кофе во рту, отправляйтесь в церковь Санта-Мария-делла-Вита.

***

Открываю глаза и смотрю в пустое небо над пьяцца. Я уже знаю эту церковь; там *Компьянто*. Оплакивание.

***

Группа фигур в натуральную величину из терракоты. Пятнадцатый век. Мертвый Христос лежит на земле, вокруг него стоят Иосиф Аримафейский, богач, который купил гробницу, чтобы похоронить Иисуса, Мария, мать апостолов Иоанна и Иакова, Мария, мать Иисуса, евангелист Иоанн, Мария, тетя Иисуса, и Мария Магдалина. Автор — скульптор Никколо дель Арка, который большую часть своей жизни проработал в Болонье.

Двое мужчин из группы спокойны, четыре Марии охвачены ураганом горя. Вихрь этого урагана — Мария Магдалина. То, что ветер делает с ее одеждой, то, как он рвет ее, когда она порывается вперед, — то же самое делает горе с ее ртом и горлом.

Но разве горе подходящее слово? Ее горе превратилось в решимость. Ее ничто не остановит.

***

Следующей ночью она останется здесь одна. Гробница откроется. Тело Христа исчезнет. Останутся только пелены и плат. И спро-

сит она садовника, куда тот поместил распятое тело, оно нужно ей, чтобы ухаживать за ним. Садовник посмотрит на нее, и она мгновенно узнает Его, и скажет Он: не прикасайся ко Мне. И впервые она поверит, что Он говорит правду. Скажи моим ученикам, что Я восхожу к Отцу своему…

***

В искусстве есть несколько фигур, которые оказались не в той обстановке. На картине Веласкеса изображен мадридский каменщик, образец заботы и терпения, но в итоге он стал Марсом, богом войны! В этом *Компьянто* Мария Магдалина, в конечном итоге, отождествляет всех мучениц — Луцию, Терезу, Сесилию, Екатерину, Урсулу.

Она бесстрашна, и пред лицом ее ничто не смягчится.

***

Когда вхожу в церковь, внутри никого нет. Я один, вешаю *tenda*, сложенную вчетверо, на кованое железное ограждение вокруг группы *Компьянто* на уровне своих колен.

Я жду. Мне приходит в голову, что *tenda*, помимо того, что служит шторой для защиты от солнечного света, может служить также шторой для сдерживания горя и воспитания решимости.

***

Через некоторое время покидаю церковь Санта-Мария-делла-Вита. Ураган, который внутри нее, никогда не стихнет сам по себе. Снаружи спокойный вечер. Люди обсуждают завтрашнюю погоду. Вхожу в торговый центр *Pavaglione*, потому что у меня какое-то предчувствие. Здесь есть место, где две арки пересекаются под куполом. По углам этого пространства расположены высокие пилястры. Там часто пролетают голуби. Воробьев же не видно, потому что здесь нет столов, за которыми едят люди. Это место перехода. Возможно, когда *Pavaglione* использовался как крытый продовольственный рынок, тут было самое тихое место. В любом случае, остался акустический феномен, который можно было бы назвать «шепчущим криком».

***

Если вы встанете у определенной пилястры и посмотрите по диагонали через восьмиугольник на пилястру другой стороны, и если кто-то случайно встанет там, вы можете говорить с ним, и он может говорить с вами, и ваши голоса будут очень отчетливыми и громкими, и сколько бы людей ни проходило между вами, никакой посторонний не услышит ваших слов. Сама идея тайны поставлена с ног на голову. Чтобы поделиться тайной, вы должны быть далеко друг от друга, при этом слова будут звучать при всех, и только вы двое их услышите.

Такое чувство, что, если я встану у одной из этих пилястр, может подойти он.

***

Я жду, как мне кажется, очень долго. Дело не в том, что с возрастом я стал более терпеливым. Я так же нетерпелив, как и в одиннадцать. Просто я меньше верю во время. Ко мне подходит, виляя хвостом, собака. Они в Болонье встречаются редко. Хозяйка собаки ругает ее, хмуро смотрит на меня и идет дальше, вспоминая и в то же время фатально забывая свою молодость.

***

Внезапно он оказывается здесь. Он весь в поту. Без куртки. Его руки аккуратно сцеплены за спиной. Он знает о невидимом акустическом телефоне. Он говорит со спокойной уверенностью человека, который, по-видимому, разговаривает сам с собой, зная, что его услышат.

***

Не забывай, мученики — обычные люди, они никогда не бывают сильными мира сего. Впоследствии из-за примера, который они подали, может, и появилась какая-то сила. Пример, поддерживающий тысячи маленьких надежд. Маленькие надежды похожи на погоню за маленькими удовольствиями.

Он вытирает лоб.

Только под этим куполом в *Pavaglione* мы можем говорить о таких парадоксах. Кому когда-нибудь придет в голову расположить мучеников и кофе *Blue Mountain* рядом друг с другом? И все же они ближе, чем притворяются моралисты, гораздо ближе.

***

Он смотрит на меня сквозь очки.

Мученикам можно позавидовать. Их следует жалеть за боль, которую они испытывали, потому что в какой-то момент эта боль была очень сильна. Но им можно завидовать.

Я киваю.

Они научились быть трогательными — это особый дар мучеников, воины никогда этому не научатся.

***

Одна из пуговиц его белой рубашки расстегнута, и он застегивает ее правой рукой, не глядя, продолжая шептать.

Перед смертью они знают, что их жизнь чему-то послужила. Многие бы этому позавидовали.

Даже если дело, в которое они верят, проиграно? — спрашиваю.

Уверен, что да. В любом случае у истории нет победителей и проигравших, как в юриспруденции. Мученики умирают, чтобы иметь дом повсюду. Вот почему бедняки почитают их. Когда мучеников почитают во дворцах, они восстают и исчезают, оставляя после себя только реликвии.

***

Он снимает очки и протирает их носовым платком, который достает из нагрудного кармана рубашки.

Конечно, маленькие радости, — отвечаю я, — принадлежат не смерти, а жизни.

Как и мученичество. Он произносит это так, будто хочет, чтобы я расслышал каждую букву в его словах. Это совпадение противоположностей. В мучениках и в тех, кто в погоне за маленькими утонченными удовольствиями, есть что-то от вызова и что-то от той же скромности. Естественно, на другом уровне. Но совпадение остается совпадением. И там, и там бросают вызов жестокости жизни.

Ты заставляешь меня вспомнить картину Караваджо.

Какую?

Мученичество Святой Урсулы.

Его смех заполняет купол, но никто, кроме меня, его не слышит. Люди начинают идти быстрее, пока не закрылись магазины.

***

История Урсулы основана на слухах от начала до конца. Он показывает открытые ладони в жесте смирения и покорности. Уличные сплетни. Женщина жила в третьем веке, а ее история была рассказана только в девятом. Давай уважать факты. В конце четвертого века шел ремонт в базилике близ Кельна, и каменщики обнаружили братскую могилу, в которой были только женщины, как говорят, все они были девственницы. Каменщики вырезали надпись без указания имен или даты. Проходит четыре столетия, и появляется рассказчик. Он нашел имя Урсулы на могиле где-то в другом месте. Это была могила девочки, умершей в возрасте восьми лет. Неверно истолковав римские цифры, он далее предполагает, что Урсулу, которая в одночасье стала дочерью короля Англии, сопровождали в паломничестве одиннадцать тысяч других девственниц! Понятно, что не было достаточного количества кораблей, чтобы пересечь Ла-Манш. Так что корабли должны были быть

построены. Ожидая их, женщины сами научились ходить под парусом и стали бесстрашными моряками. Они пересекли Ла-Манш, проплыли вверх по Рейну до Базеля, а оттуда пешком через Альпы добрались до Рима.

***

Он качает головой и ждет, и мы оба наблюдаем за людьми, проходящими через галерею.

Именно на обратном пути их постигла беда. Недалеко от Кельна они попали в руки Аттилы и его головорезов, и все, кто сопротивлялся, были убиты.

***

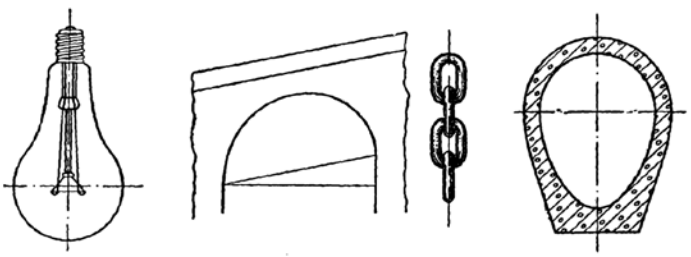
Да будет так. Болонья! Болонья! Рядом с *Porta S. Value* находится бар под названием *Bocca dOro*, где подают лучший лимончелло, который вы когда-либо пробовали. Нужно лишь попросить, чтобы приготовила мать хозяина. Вкус обещает всё.

***

У пилястры никого. Он ушел. В моих ушах только звуки города.

**Аглая Соловьева**

# *Пуговка из петли*



***

Я шла к себе всё время мимо,
Я обходила стороной
Себя, но черт из херувимов
Всегда приглядывал за мной.

Он составлял мой план на вечер
И подводил итоги дня.
Мои любимые при встрече
Всегда встречали не меня.

Обидно? Может, и обидно,
Но если человека нет,
Его ни в темноте не видно,
Ни если вынести на свет.

Тогда и пуговки не важно,
Когда в рубашке никого,
Но мне везёт, и я однажды
Ушла с арены Арт-нуво.

От одичавшего Амура,
Сбежала из себя пустой.
То ли богиня, то ли дура,
И слышу, нежно так: постой!

Стою посередине мая.
Не докричишься — не зови.
Мне больно, значит, я живая
обратной стороной любви.

***

Счастье включает в себя молчание.
Толстую книжку, чашку чая,
Заметки в сети, мимолётную встречу,
Слова покороче, напитки покрепче.

Прозрачные пальцы, холодное море,
Луну под водой, прожитое горе,

Экзамен на тройку, диплом без отличий
И взгляд в Эрмитаже Мадонны да Винчи.

Забытую песню, знакомую песню,
Подружку, с которой хоть что интересней.
Пространство руками размахивать в танце,
Свободу уйти и решенье остаться.

Пустой полупоезд и верхнюю полку.
Кого-то, кто спросит тебя: «Ты надолго?»
И хрупкость касаний, и тонкость одежды.
И кружево слова. И паузу между.

***

Нежность пальцев твоих — мне!
Не тону, не горю в огне.
Хрупкость кожи, бумажный взгляд,
Ты послушай, что говорят:
Сердце к сердцу стучится вслух.
Говорят, сосчитай до двух.
И обратный пойдёт отсчёт,
Самолётик бумажный — взлёт.
Вышла пуговка из петли.
Раздеваться — так для любви!

***

Корни дерева в сердце,
Не рвите с корнями сердца.
Когда некуда деться,
Сияйте, не пряча лица.
Когда выцвели лица,
Наденьте чуть ярче цвета,
Когда ливни в столице,
Такая вокруг красота…
Когда ливни в столице,
И гром разревелся, грубя,
По чуть-чуть, по крупице
Роняйте с тем ливнем себя.
Буквы сложены в томик,
Потом за искусство сойдёт.
Я, как карточный домик,
Который вот-вот упадёт.
Время мчится на роликах,
Всё — под колёса минут.
Кроме карточных домиков,
Тех, что вот-вот упадут.

***

Ангелы не едят хлеба,
Но ездят на электричках.
Стоят прямо в проходе,
Не занимая места.
Человек смотрит в небо,
Рассказывает о личном,
Добавляя размытое «вроде»
И виноватое «если честно».

Люди говорят, что думают — говорят,
что думают. Если б!
Просто говорят, но не как дети,
А, например, «хоть убей».
Люди очень шумные,
В электричке им нужно место.
Люди едят хлеб, и этим
Отличаются от ангелов и походят на голубей.

***

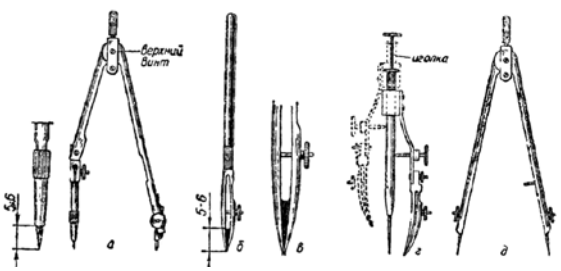
Побудьте ещё среди этих, среди нас.
Вы всем нужны. Всем через одного.
Вот Бог когда-то взял и всех без разбору
спас.
А вы, точно говорю, спасаете в нас его.

Да, Христос — воскрес. Но он всё-таки Сын.
А вы — Дочь, и вряд ли воскреснете.
У него вон, борода и усы.
А вы что? Вы лучше пишите песни!

Поживите ещё. Здесь. На земле.
Не обязательно воду в вино и целовать Иуду.
Вы просто нужны. (Особенно мне,
хотела я написать. Но не буду.)

**Дмитрий Бавильский**

# *Дневники 2022 года*




## Часть первая

### Челябинск

*29 декабря 2021*

Декабрь можно было разделить ровно посредине на снежный и бесснежный — все эти дела внизу обязательно отражались (и продолжают отражаться) на том, что наверху, в небесах, среди облаков да птиц.

Начало было бурным, нежным, полным натиска, из-за чего скрывало следы и наметало сугробы каждый день.

Выходя чистить лестницу, чтобы спуститься в сад и почистить дорожки внизу, каждый день я удивлялся, что снег идёт каждый день, «не пропустив ни дня»…

И первого, и второго, и третьего, и четвёртого, и пока праздники были в силе, и когда уже начали выдыхаться.

Я делал вид, что ворчу и ругаюсь, хотя радовался наступлению очередной ступени обновления — словно бы каждая пурга-метель (даже не такая мощная и непроходимая, как в детстве) облегчает участь и снимает лишний груз с души…

…словно бы каждая позёмка, поднятая вверх или же сброшенная с крыши, сжигает жир души и всяческие остаточные явления, накапливаемые сознанием с возрастом.

Потому что как бы не был силён разум, но физиологические реакции всё равно сильнее: и как бы ни был современен современный человек, при наступлении темноты возникают дополнительные страхи и опасения даже в XXI веке, каким кривобоким он бы ни был, хотя, казалось бы ничего не грозит и не светит…

Но есть, вероятно, работает недооткрытый механизм перетекания пустого в порожнее, когда, например, медийная агрессия перетекает в бытовые фобии и обратно.

Тем и хорош снег с небес, прижигающий (на самом деле успокаивающий) нервные окончания, притупляющий боль и цвет, включающий на пульте управления дополнительные опции сонницы, исполненные неявных, полупрозрачных оттенков.

Эти полутона становятся видны под разным углом зрения по отношению к кровати, к подушке, разбухающей в засыпающем сознании до размеров полушарий.

Весь январь я проспал.

Я много спал, даже когда снег выключили посредине сеанса и зима, балуясь перепадами температуры, обнажила свои болезные дёсны.

Снег ушел с неба и тут же стал мелеть внизу, обжимать поляны и прижиматься к заборам, временно каменеть.

Открывать дно, рельеф сна дна, на котором сволочью вьётся усталость.

И лишь новая метель способна обновить окоём, обнулить проржавелую эмоцию, с тем, чтобы сезон начался как бы вновь.

С белого чистого листа.

Из января зимняя погода кажется более разнообразной, нежели летняя.

Тем более что до лета же нужно ещё добраться, доплыть, как до островов зелёного атолла, до дальней станции с пыльцой и вечным перекуром.

Летние похолодания и заморозки не способны радикально изменить пейзаж.

Они почти всегда кратковременны.

Они почти всегда темны внутри.

Январь качает, как на качелях, туда-сюда: на Рождество нам выпала оттепель, и на лестницу действительно капало со скатов.

На каждую ступеньку я поставил по ведру, и есть видео, на котором капель играет веселенький марш.

На смену капели пришёл день жестянщика, а там и до Крещения недалеко (станцию Старого Нового года мы в этом году пропустили, останавливаться на ней не стали, из-за чего ёлка в светлом углу мигает у нас до сих пор).

А Крещение — это что?

Не только морозы, но и перспектива на последнюю треть, не так ли?

На Крещение было тепло, всего пара градусов холода.

Мороз приходил ночью, а утром отползал в пещеры горного короля в Горно-Заводском районе (кто не в курсе — так это самый холодный район Чердачинской области), скрывал свои пушистые хвосты где-то там, за поворотом, за горизонтом.

Пока я удивлялся, что «вот и до Крещения добрался парниковый эффект», земля с остатками снега промёрзла до самых скальных пород.

Хлад ушёл на глубину, сковал водопроводные трубы, словно бы подтверждая буквальность метафоры, связывающей его с водами мирового океана.

С рельефом дна и непрозрачной глубиной.

Крещение настало позже обычного, но ровно с той же самой неразберихой, какая возникает в голове, уставшей отчётливо считать вехи, начиная с католического Рождества (православное мы тоже в этом году проскочили без остановки — заняты были, спали-с) и вплоть до Крещения, моего Дня Рождения, а также Дня Рождения моей сестры, переходящего в одновременный День Рождения моей тёти и моего деда Василия Арсентьевича, ЦеН.

Где-то накануне Крещения возникло «Детство», третий роман Уве Карла Кнаусгора, и жизнь очередной раз изменилась, так как сильные книги способны менять жизнь под себя.

Правда, только на время их чтения, когда человек находится на территории чужого ума и чужой харизмы.

Это как в театр попасть, но лучше так, чем никак.

Хоть что-то, чем ничто.

А всю первую половину января я читал про Врубеля и неожиданно возникла целая полка: Блок, Алленов, Сарабьянов, типовые альбомы и роскошный каталог.

Хм, покуда был внутри врубелевской темы, казалось, что книг больше.

Но когда эссе кончается, строительные леса становятся совершенно неважными —

совсем как эмоции, пережитые в начале года, как январские думы, надежды и чаянья, уступающие место февральской трезвости.

Когда даже похмелье выходит забытым.

Это я к тому, что с юности любил я в тексты свои вносить зашифровки и подмигивания, ссылки для дальнейшего изучения и разгадывания (ну, чтоб филологи «не скучали», ведь автору как бы положено говорить обиняками и развивать грибницу интертекстуальности), причём чаще всего даже и на автомате…

Хотя годам примерно к сорока прекратил это делать (по крайней мере, осознанно), так как оказалось (практика показала), что люди не способны воспринимать информацию, обращённую к ним «прямым текстом».

Да и понимание собственного «всемирно-исторического значения» как-то потихоньку переродилось, трансформировалось в совершенно какой-то иной орган душевной жизни — ну, или же попросту отпало за ненужностью.

К тому же и антропологический поворот начал менять подходы гуманитарных наук, да и цифра вообще начала активно трансформировать традиционные культурные практики, которым почти не до мелочей и всего «незаметного», знаточеского, чем и промышляла обычная филология.

Да и попросту смешно.

Да и попросту лень, не интересно. Архивный юноша из отдалённого будущего — так себе цель и слабое утешение.

С тех пор я и пишу прямо, без потенциальных индексов да аппендиксов и не скажу, что писанина моя качественно изменилась.

Ибо даже прямоговорение, кажущееся автору очевидным, нуждается в дешифровке и понимании: читательские реакции непредсказуемы, не только когда они есть, но даже и когда их нет.

*1 февраля*
*Ледяной городок на челябинской Площади Революции в зиму 2021/2022*

Интересно смотреть, как черты непреодолимой силы идентичности возникают из необязательности и климатических возможностей; как иерархизация сознания, заложенная в плановом развитии территорий (города, его центра, людей на передержке советского прошлого), выливается в ежегодное строительство ледяных городков на Площади Революции.

Однажды заведенная традиция не отдаёт себе отчёта и простой покажется катастрофой, отступлением от оси привычного мира, распространяя своё влияние на территорию зимы, но и всего остального года (подобно тому, как Михаил Ямпольский показал и объяснил действие титров в немом кино, территория которых распространяется до следующего титра, который только и может отменить предыдущий титр), который будет хотеться вновь вщёлкнуть в пазл.

Хотя ритуал ледяного городостроительства «мелок и случаен» (вряд ли кто-то теперь способен опознать эту цитату, поэтому вариантом — бессмысленен и автоматичен, иллюстрируя не столько сезонно-обрядовые изменения, сколько инерцию общественной жизни и ее восприятий.

Без семиотики и антропологии, даже в самых что ни на есть завирательных обертонах, тут не обойтись.

Будущие исследователи обязательно отметят дату возведения в Челябинске первых таких городков, связав желание ледяных фигур с Оттепелью или же нормализацией бытовых материй внутри развитого брежневизма: именно тогда избыточные жесты в области монументалки (хотя бы и временной) могли показаться нужными и востребованными идеологическим строем внешней жизни, развивающейся по логике витрины.

Ведь дискомфортный, в сущности, Челябинск прикладывает нешуточные усилия для того, чтобы центр свой и Площадь Революции, как центр своего центра, сделать и показать исключительно привлекательным.

Несмотря на кажущуюся всенародность такого подарка (что может быть народнее детских горок и ёлок, даже и самых высоких в области, специально, под медийные фанфары возводимых в центре центра центра), этот проект явно элитистский в своём высо-

комерии, раз уж, во-первых, он думает, что народу нужно только «хлеба и зрелищ» (тогда как народу и нужно действительно только «хлеба и зрелищ»), во-вторых, забота об избыточном украшении центра, принадлежащего сразу всем и никому, противоречит заброшенности большинства жилых кварталов.

Особенно расположенных на городской периферии.

В районах массовой и типовой застройки.

Там, где реальные люди не только живут, но и обитают.

Проблема в том, что в Челябинске периферией является всё, кроме центрального проспекта, который даже невозможно переименовать в историческое название (проспект Спартака), иначе же всё попросту посыплется.

Тут, конечно, интереснее всего был бы семиотический подход, меняющийся вместе с незаметными временами (как правило, они не совпадают с границами формаций, но будто бы вытекают из них, подобно неаккуратной штриховке в книжках-раскрасках) и отмечающий подспудные изменения. В том числе и в оптике.

Важно объяснить например, мобилизационными настроениями, сначала желание обнести ледяной городок ледяной стеной, а затем, год от года, постепенно снижать высоту этой ледяной стены, вроде бы выгораживающей внутри площади особое сказочно-игровое пространство, зону отдыха, отныне лишённую чувства тесноты и полноты, общности…

Территорию измененного <социального> сознания.

Тут ещё важно объяснить неместным, что ледяная новогодняя «крепость» как бы дублирует место реальной крепости, находившейся в XVII веке парой кварталов ниже — на берегу реки Миасс, там, где теперь находится площадь между Театром оперы и балета им. Глинки и Картинной галереей и откуда, по приказу Василия Татищева, и начал распространяться будущий Чердачинск.

Челябинская крепость была охранительным форпостом, входящим в оборонную линию, завязанную на Оренбург (честно говоря, для меня было большим открытием узнать о стратегической важности этого города, ныне находящегося в каком-то культурном полуупадке и сне), а также остановкой в пути торговых караванов, следовавших по Великому шелковому пути, бог им в помощь — вот откуда на гербе нашего города возник верблюд и ощущение дремотной Азии, словно бы клубящейся подземными источниками под нашими гранитными платформами (жизнь на граните — та ещё радость), лишь изредка выплескиваясь на поверхность.

Иногда мне кажется, что новогоднее ледяное столпотворение на центральной площади нынешней пост-индустриальной реинкарнации караван-сарая и есть неосознанная попытка соткать из воздуха и льда проекции тогдашней (на самом деле никогдашней, никогда не бывшей) густоте городского замеса, территориальной харизматичности, нужности… глобально не хватающей Челябинску теперь, когда город плавно самостирается в плаванье по XXI веку.

Площадь Революции с ледяным новогодним городком, окружённым стенами, таким образом, может читаться попыткой ложной идентичности, не существовавшей в реальном историческом измерении…

— …это вот как, к примеру, венецианцы придумали вести свой строй от фигуры святого Марка, не имевшего к Венеции никакого отношения, но прибывшего в город похищенными мощами, так и Челябинск каждый год, под конец года (итогом) выстраивает как бы макеты проекции своего идеального про(пра)образа.

Некий Челябинск-на-небесах, но только стоящий на земле (хотя ведь и парящий над крышей Никитинских рядов в подземелье, то есть всё равно, всё-таки подвешенный и, таким образом, летящий) и сделанный из холода — временный мираж лучшей городской доли, таки способной на чудеса, застывшие в ледяном, прозрачном (призраки ж) камне.

Странное (непрямое) преломление идеологических доктрин, царящих в политической, провластной повестке дня, преломляется в литературной и символической

программе украшения площади весьма оригинальным и отвлеченным образом.

Да ещё и с запаздыванием.

Несмотря на то, что количество ледяных фигур и одномоментных скульптурных комплексов вроде локальных заливных лабиринтов и скульптурных групп, принципиально сочетающих (раз уж город — содружество и сожитие разнородных социальных и культурных страт) самые разные стили и жанры (больше всего здесь, конечно же, сказочных фигур, но есть и «спортсмены» и, как в прошлом году, «космонавты»), постоянно увеличивается, а территория площади не меняется, зато увеличивается чувство разобщенности артефактов, отныне зависших словно бы в безвоздушном пространстве.

Это чувство странное и неочевидное, но на нем постоянно ловишься…

…как и на том, что ёлка, несмотря на циклопические размеры и электрические (читай: яркие, блестящие, блестючие) украшения (я помню еще, как её наряжали игрушками из бумаги и картона — переход к стеклянным шарам казался нам тогда, в 90-х, беспрецедентной эволюцией) все больше становится пустым означающим, стремящимся уйти из поля людского зрения в сторону какого-то провала или трещины в пространстве…

…не означая уже ни ряженой и полностью поверженной природы, ни стихии праздника, народного по сути, но навязанного сверху и извне (или снизу, из преисподней — и сбоку).

Говорю же: трещина, вокруг которой вылезают словно бы из-под земли (где зимой холоднее всего — так, что трубы мёрзнут и замерзают) всяческие заливные хтонические сущности.

В том числе и архетипов той самой дремотной Азии, что укрепляется внутри идентичности вопреки логике общественно-политических (экономических и культурных) процессов.

С недавнего времени строение ледяных артефактов (экспонатов ледяного леса, временного рукотворного ландшафта, напоминающего рельеф дна) усложнилось введением внутрь электрических гирлянд, заставляющих скульптуры мигать и переливаться разными насыщенными цветами в тёмное время суток, словно бы уничтожающих всё, что не подсвечено.

И это, кстати, тоже случилось относительно недавно (то есть, «на моей памяти», волны которой закадровые строители и ваятели городка используют на всю катушку), придав зрительному образу площади Революции в зимние месяцы феномен космического ускорения.

Особенно на фоне неосвещённых окраин с огромными сугробами в зимы, богатые снегопадами, вот как эта.

Тревожно мигающих, как перед рывком, но никогда не трогающихся с места.

Вместо ледяного городка, круглосуточно обтекаемого потоками машин, спешащих по одной из самых запруженных и проблемных городских магистралей, мчат, притормаживая на затянутых светофорах, безликие пассажиропотоки, смазывающие картинку своей шустростью, избыточной подвижностью.

И тут есть два сколь важных, столь неочевидных аспекта, общегородской и общероссийский, позволяющих отстраниться от того, что вокруг, дабы не вмёрзнуть в ледяные чертоги челябинской идентичности окончательно и бесповоротно.

Впрочем, теория их не разработана, оттого — резко и кратко.

Бытование ледяного городка, генезис которого всё время хочется вывести из повести Лажечникова и картины Сурикова (там, правда, городок не ледяной, но снежный, и именно поэтому поддающийся взятию и разрушению, тогда как городки, придуманные советской властью и запущенные на орбиту традиции при генсеках и КПСС, должны были быть такими же нерушимыми, как советская власть — их нельзя было разрушить, но можно было демонтировать, примерно как отдельные проявления перегибов на местах и проявления общесоветского культа личности), но все-таки это ложные манки и пустые означаемые в силу своей избыточной культурности.

Поэтому в назывном порядке и схематичненько.

Во-первых, работа ледяного городка переводит состояние общегородского самосознания в иное агрегатное состояние: постройка на площади Революции обозреваема, то есть схватываема глазом, из-за чего вещество общегородского единства начинает вырабатываться в ее семиотических жабрах, даже если живёшь в совершенно отдалённом районе и до площади пока так и не добрался.

Во-вторых, век социальных сетей показывает, что твой родимый эксклюзив напрочь лишён эксклюзивности и подобные парки развлечений с ледяными идолами, стенами и аттракционами возводят в большинстве российских городов.

Кто бы мог подумать.

И это шок, конечно, а не уникальная прерогатива родного города.

Стилистические разброд и шатание в ледяных заповедниках разных городов большим разбродом не отличаются.

Специфика региона проявляется, может проявляться, разве что в животных, пригнанных коммерческими энтузиастами на окраину ледяного городка, за его границы и ледяные стены: в Челябинске тут из года в год выгуливают не только пони для совсем малых детей и лошадок для детей побольше, но и верблюдов в красной попоне, словно бы сошедших с городского герба.

Тогда как сказочные герои и космонавты у нас одни на всех и климатически-природным зонам не подвластны.

Пантеон сказочных героев РФ зонтично накрывает сразу все регионы, хотя ощущения единства страны как общности не вызывает.

В городе вызывает, а если по стране, то нет.

В общем, всё весьма закономерно и что-то такое, подобное ледяным городкам, обязательно должно было возникнуть.

Есть в их ежегодном подмороженном, несъедобном проявлении, ну, да, печальная какая-то закономерность.

*2 февраля*

Небольшой каминг-аут. Время от времени мне снится скоростной лифт, оказывающийся чем-то вроде портала в другие измерения.

Можно сказать иначе: в вполне реалистические сны внедряется вертикальный тоннель, как из фантастической литературы (ну, или кино), когда речь идёт о последних этажах запредельных небоскрёбов в более чем триста этажей или же ещё выше.

Выше — это уже какой-то обитаемый космос, куда нужно прибыть по жёстко фиксированной схеме, из-за чего я жму кнопку лифта (их на площадке, как правило, три-четыре) и жду, когда спустятся один или сразу два, так как всегда есть возможность выбрать ту или другую кабину.

Отчасти это напоминает запуск космического корабля, но совсем от малой части, как если полеты в космос и даже куда-то выше стали не просто повседневностью, но сермягой, в том числе и технологической, такой же привычной, как пылесос.

И да, лифт почти всегда идёт вверх, преодолевая помехи гравитации, из-за чего, особенно когда он ускоряется, возникает предчувствие, предощущение опасности.

Тем более что кабину может потряхивать, раскачивать из стороны в сторону, точно она отклонилась от маршрута (всякое ведь возможно), плющить пассажиров, придавливая нас к полу (изредка в таких лифтах случаются кресла и даже диваны, но, скорее, в качестве исключения, нежели бытового правила) и будто бы размазывая ездоков «по экрану»…

…точно тела и лица наши — не из крови и плоти, но из цифры.

Впрочем, это, скорее, внутренние ощущения, нежели внешние эффекты, просто передаваемые внутри сна с помощью визуальных эффектов.

Лифт всё время идёт вверх, всё время набирает скорость, преодолевает скорость звука, света и чего-то ещё, иногда выходит на орбиту, иногда летит ровно вверх, и чем больше расстояния до нужной точки, тем быстрее он их проходит.

*3 февраля*

Ну, то есть мне, когда я внутри и когда со мной в лифте заперты попутчики (чаще всего, между прочим, женщины и чаще все-

го эти лифты стартуют из общественных зданий — например, с бесконечным количеством контор или же из достопримечательностей с видовой площадкой на самой что ни на есть верхотуре) с течением времени и силой притяжения происходят разные кульбиты…

…то они растягиваются, то сжимаются, схлопываются и вновь заставляют скучать, пережидать неизбежную паузу в беге по обычным и повседневным делам…

…а то скручиваются в жгут, да-да, и законы всемирного тяготения тоже, то этот жгут расслабляя едва ли не до зависания в зоне невесомости.

Но так как для пассажиров это всё заурядные ощущения, включенные в быт в качестве ежедневной банальщины (хотя при этом и не лишённые потенциальной возможности сбоя, расстройства маршрута и даже катастрофы — такое в паре снов тоже ведь меня настигало, например, вместе с проваленным полом, неожиданно оторвавшимся от кабины: то есть никогда не знаешь, что тебя в этом лифте ждёт и сможешь ли ты прибыть наверх в целости и сохранности), то никто не обращает на них внимание — что поделать, если жизнь человеческая хрупка и вообще ничего не стоит…

…вообще ничего не стоит, хотя каждый из нас предупреждён о потенциальной опасности и возможных сбоях, проинструктирован и насмотрен, так что ничего странного не происходит, хотя каждый полёт вверх не походит на все предыдущие.

Хотя я сейчас вспомнил, что были в этой лейтмотивной цепочке и спуски вниз.

Были, конечно, как без них.

Ведь избавление от тревоги и опасности тоже порой необходимо.

С другой стороны, как я уже много раз отмечал, неуправляемый сон и есть кошмар, то есть сновидение управляемо примерно так же, как автомобиль или самолёт, тем более если всю свою жизнь накапливаешь навыки управления собственными снами, просматриваемыми как в кино или же из кабины управления (иногда накрывает ощущение, что сны я смотрю сквозь специальные очки, напоминающие бойницы или щели в реальном пространстве), таким образом, лифт во сне — дважды управляемая сущность, как бы изначально заложенная в центр проекта сна, запроектированная.

И даже если на высоте настигает сонполомка, сон с пожаром, всё разрешается, должно разрешиться с выездом в хеппи-энд, раз уж сон в данном случае — проявление высшей нервной деятельности сознательного существа.

Просто важен сон-разрешение, когда спускаешься с запредельных вершин, пересекая все возможные физические границы, выходишь из бетонного подъезда на улицу и идёшь по своим делам дальше.

Сейчас мне кажется, что, так как подъёмы связаны с офисами общественных пространств, точно так же спуски происходят в подъездах жилых домов.

Но это примечание почти на полях, так как главное для меня, что это постоянно возобновляемый ресурс лейтмотив, настигающий меня с определенной очерёдностью вот уже много лет подряд…

(…я не отметил, когда он возник впервые, поэтому могу только предполагать, что в связи с переездом в Москву, где впервые в жизни я начал жить в доме с лифтом…)

Именно повторяемость (а у меня в снах существует целая система лейтмотивов топосов, сюжетов и персонажей) делает эти эпизоды узнаваемыми и, значит, передаваемыми: из-за возвращений в них всё отчетливее проступает суть, а также ядро обязательного и варианты отклонений от этого ядра.

Именно это и даёт возможность зафиксировать лейтмотив, записать его, чтобы пересказать другим.

Ведь считается, что в снах главное (и самое сложное для передачи) то, что обычно обозначают приблизительным, призрачным словечком «атмосфера», которая вневербальна, дословесна, мыслеобразна, нерасчленима на составляющие и оттого непередаваема.

Еще и потому непередаваема, что исчезает вместе с ~~влюбленность~~ сонливостью, оставляя вместо себя морок отсутствия.

Вот как лёд, когда растает и испарится, оставляет вместо себя пару грязных мутных капель.

В случае со снами не остаётся даже и капель, просто предощущение пережитого и увиденного, покуда спал, вывернутое наизнанку, как та магнитофонная плёнка, что пущена задом наперед.

Повторение оказывается матерью не только учения, но и изобразительных возможностей и перевода осязаний в иное агрегатное состояние, хотя, разумеется, никогда не следует забывать, что сравнение — самая примитивная форма аналитической деятельности.

Особенно если сравнение делается в качестве каламбура (необязательно фонетического, но и смыслового тоже).

Странно, что на размышления эти меня натолкнула песня Александры Пахмутовой (дай бог ей здоровья) «Мне с детства снилась высота, я с детства рвался в поднебесье», ассоциативно связывающая, вот как лифтовым порталом, в единую дугу олимпийскую Москву 1980 с открытием нынешней Олимпиады в Поднебесной.

*10 апреля*

Посёлок живёт как всегда, прихорашивается даже, благо снег в марте шёл едва ли не каждый день, а снег нам к лицу, даже если улицы и дороги завалены рыхлой шнягой, постепенно растаскиваемой к краям (надо сказать, что слякоть, с одной стороны, снижает комфорт пребывания на свежем воздухе, но с другой — украшает город, особенно бедный культурой, так как делает его более складчатым, подробным и разнообразным), идеально ходить во время снегопада и фиксировать снежинки на фоне курток, шапок и шуб.

Дело в том, что последние несколько месяцев мне пришлось регулярно наведываться на Северок (Северозапад, Северо-Запад), район советских новостроек (теперь уже весьма устаревший и обжитой), с которым связана важная часть моей прошлой жизни, правда, несколько с другой стороны и под иным углом зрения — не возле двоюродного Комсомольского проспекта, но возле перекрёстка улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы.

То есть в буквальном промежутке.

Ну, вот и пока маме делали импланты, я гулял по району, разросшемуся до размеров небольшого города, придумывал себе приключения, маршруты и дела, позволявшие проводить время с пользой.

Раньше это место было связано у меня с окрестностями университетского городка (самые первые факультетские здания с ректоратом были где-то во дворах, а фасадами на Молодогвардейцев выходили многоквартирники нашей профессуры и преподсостава) и общагами, а также мастерскими чердачинских (сегодня придумал слово для обложки Черядом) художников, педколледжем и многочисленными пустырями, а теперь ни с чем.

Тем не менее у меня есть опыт знания о внутреннем наполнении места, формировавшемся на моих глазах, и именно эта диахрония оказывается главной достопримечательностью, ведущей меня по уличной сетке то вверх, то вниз, то в сторону.

Так как других пунктумов здесь нет и задницу приземлить буквально негде.

За исключением разве что «Бургер Кинга» на перекрёстке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, заслонившего собой общагу филфака с университетским музеем археологических находок (на раскопках Аркаима) с торца.

Не уверен, есть ли он до сих пор там, тем более что профессор Зданович, его основавший (и открывший Аркаим), в прошлом году умер от ковида.

То есть если бы мои преподаватели профессора Бент и Михнюкевич были живы, они смотрели бы со своих балконов на «Бургер Кинг», в отличие от других ресторанных соцсетей отказавшегося уходить из России (если, конечно, я не пропустил очередной порции новостей о бойкотах и санкциях) и на общежития, в крохотных комнатках которых, пропахших жареной картошкой (в лучшем случае), обитали и обитают их ученики…

Да, про археологический музей с торца я вспомнил лишь сейчас, так как среди других объектов соцкультбыта на этой стороне города нет ничего, кроме магазинов.

Вот я и использовал их для экскурсий и сбора информации о местном колорите и особенностях стиля жизни.

Ходил, изучал, внедрялся, раз уж внедрение и изучение мест изнутри начинается с попадания под крышу.

Самое главное, что везде есть, обязательно существуют неповторимые подробности, которые, несмотря на штамповку, хочется обозвать этнографическими: соединение их с запахами и ландшафтами конкретных территорий, соединения топонимов и партизанских троп, шума общественного транспорта и состояния небесной флоры и фауны соединяются и импровизированные, нестойкие иероглифы (Левкин в «Серо-Белой книге» называет их андами), забирающие внимание и оставляющие в органах чувств стойкий след, напоминающий поездки в дальние страны.

Там ведь тоже в организмах восприятия запускаются схожие процессы, просто на более выпуклом и более заметном (жирном) материале, но когда опыт отчуждения и остранения уже не неустраним, его можно запускать уже где угодно и когда угодно.

По любому поводу.

Так как опыт этот перестал быть сугубо писательским и засахарился, загустел до состояния самых что ни на есть жизненных практик и повседневных технологий, для приобретения/формирования которых, собственно говоря, мы и пишем, окей, я пишу, раз уж правильнее всего и методологически корректнее говорить только о себе.

Шёл снег. Ты хотела спросить, зачем всё это нужно, вот я и отвечаю тебе: творческие разработки важны не сами по себе, но вспомогательными (хотя порой они и становятся самыми главными, центральными, фундаментальными, фундированными) упражнениями в достижении достижений, возможно, незаметных другим, если бы не все эти буквы…

…ибо всюду жизнь (одна и та же), а также люди, на любом повороте или перекрёстке, проспекте или переулке, внезапно возникшем из-за природного искривления пространства, которое может выражаться в повышенном количестве грязевой жижи в низине у импровизированного рыночка или же в толщине деревьев и стен.

Посёлок наш выигрывает у Северка, планированного уже на излёте советской власти, возрастом своим и количеством неправильностей, хотя когда-то и Северозапад был окраиной и окоёмом Ойкумены, а теперь он застрял, как косточка в пищеводе, где-то ровно посреди городской вселенной, став в каждой точке своей промежутком, потому что в какую сторону ни иди, будет примерно всё одно и то же, как если эта самая точка и промежуток движутся вместе с тобой.

Но эти различия неразличимы стороннему взгляду, то есть такому, который не имеет опыта стирания цифр пагинаций на углах домов, стирания промежутков внутри промежутков, когда нужно добежать до дома или из дома как можно скорее; когда опаздываешь, если опаздываешь или торопишься, то одно, то другое, а то просто проспал и не выспался, высыпался из подъезда, и пространство исчезло, внезапно прервалось до самой до остановки…

До самых до окраин…

Вернувшись, всю ночь до утра смотрел английский сериал про семью из небольшого города (снимали, кажется, в Ливерпуле), и это совершенно новый для меня способ препровождения нарративного времени…

…мы и не заметили, как большие нарративы вернулись как в историю, так и в жизнь; на новом, конечно, пост-пост-этапе четвёртой индустриализации («цифровой»), тотальной урбанизации и не менее тотальной скоростной варваризации, с существенными методологическими отличиями, конечно (сюжеты теперь не скрывают своей внутренней выхолощенности и пустоты, условности назначающего жеста)…

…совсем как в живопись вернулся реализм, помнящий все приступы абстрактности и нефигуративности (сюрреализма, например, и кубизма), все изменения и извивы отношений к натуре и окружающей действительности, к станковой картине и стенописи…

…опыт нефигуративности неотменяем, как возвращение с того света: пару раз мне приснилось, что бабушка воскресла и снова говорит и ходит, но на ней тем не менее лежит отпечаток то ли небытия, то ли инобытия, и это сразу заметно по приспущенности ее лица и ее тела, хотя, казалось бы, ничто напрямую не указывает…

…тем не менее, казалось бы…

…так и в живописи, точнее, так и в любых взаимоотношениях с наррациями, где бы они ни развивались, в кино и сериалах, или же в информационной политике и пропаганде, в жизни и на войне, опыт предыдущих трансформаций неотменяем: большой нарратив есть, но он изменил своё наполнение, своё агрегатное состояние, то есть почти буквальный характер связи отдельных молекул.

Сериал лишь формально напоминает роман с продолжением следует, так как воздействие его на сознание имеет иную природу, и нейронные цепочки он строит не такие, как при чтении, позволяющем погрузиться в форму и в проблематику изнутри своей собственной породы — так как чтение заставляет нас переводить всё, что мы видим и мыслим с одних рельсов на другие, тогда как в кино и в сериале мы продолжаем езду по чужой колее. По чужим рельсам.

Лучше всего эту разницу понимаешь постфактум (охваченность процессом много значит, а телемыло похищает человеческое сознание с помощью прихватов профессионального ремесла и пересборкой нашего собственного времени проживания), настолько разным оказывается послевкусие.

Закрывая книгу, мы почти мгновенно смываем в себя подробности, из которых она состоит, те самые «отдельные слова» (в том числе и составляющие фабулу), которые важнее всего автору, меняя их на тлеющее симфоническое облако, умеющее мерцать и переливаться.

После просмотра сериала утром я переживал внутри себя пустоту, прикрытую кляксой — сплошной и, без оттенков, клеёнкой с химизированным привкусом — таков, по всей видимости, местный способ производства впечатлений.

Сериал, с одной стороны, оставляет зрителя пассивным, внутри его (моей) комнаты и моей (его) жизни, так до конца и не соединяясь.

Вот как в правильно устроенном коктейле, который не может смешиваться….

…с другой стороны, он активно воздействует с помощью агрессивных визуальных форм на сознание и органы чувств, вынуждая организм обходить все эти преувеличения, которые в кино само собой разумеющиеся, так как оно ведь, видимо, и существует для отвлечения и того, чтобы, в конечном счёте, забыть себя.

Чтение не про забыть себя, даже если важно отвлечься от жизни, но про расширить себя и уточнить через присоединение (подсоединение) к источнику питания, способному не акцентироваться на себе.

Понимаю, насколько зыбко и условно то, что я пытаюсь описывать по свежим следам, насколько оно противоречиво и неустойчиво, но пока важнее всего мне зафиксировать ощущения в первом приближении, чтобы уже позже нарастить точность.

Ебж, ебс.

Ведь функция дневника, в том числе, в этом самом первом приближении и есть.

*16 апреля*

Окончания морозов ждешь с некоторым, впрочем, легко сминаемым ужасом, так как вырваться из клещей привычки всегда сложно, хотя, казалось бы, нет ничего проще сменить холод на тепло…

…однако же в марте, когда стужа плавно подползала к январским температурам, например, развешивая постельное бельё для прожарки на холоде, несколько раз я ловил себя на недоумении: как же я теперь без этой постоянной бытовой подробности буду профилактически бельё освежёвывать освежать?

Да и вывешивать только что стиранное всегда лучше в минусовые температуры, чтоб оно затем хрустело и дымилось зимним ознобом, хотя, как теперь, пару недель спустя, становится очевидным (практика — критерий истины) — теплые температуры (плюс яркое,

горячее солнце, помноженное на долготу дня) делают гигиенические процедуры с бельем, коврами и ковриками, а также ведрами ещё более действенными и быстрыми.

Каждый раз при переходе от зимы к теплу переживаю это забывание прошлых практик и немедленное их воскрешение под воздействием простых и светлых дней.

Всё-таки привычка — замена счастию, путь по проторенной дороге и замыленность взгляда, который следует потряхивать время от времени, чтобы окончательно не автоматизироваться.

Особенно в предчувствии катастроф, которыми нам маячит ближайшее будущее, начинающееся сразу же за воротами нашей усадьбы — там, где «улица в четыре дома» молнией, ну, или зиппером отделят бытие нашего домохозяйства от массивов большой земли…

*1 мая*

Работали в саду — помогали природе выждать паузу, прежде чем она перейдёт к непрерывности цветения и включит «зелёные лампочки».

Эта работа хорошо отвлекает и даёт надежду выползти на дальше, так как на самом-то деле это природа нам помогает — комплектует, увлекает, мотивирует: почти весь апрель ушёл на разгребание пыльной прошлогодней грязи.

Каждый год искренне удивляюсь мусору, оказавшемуся под стаявшим караваем снега, ноздреватого и угрюмого, за пару дней утончившегося до корок и прочих объедков по углам да теневым сторонам зон отчуждения: откуда он берётся заново, если в зиму убираем сад, как невесту под венец?

Уборка идёт до того момента, покуда снег ляжет, и, если врасплох не застало, зачёсываем земле лысину по-лукашенковски — длинные, сухие пряди мёртвой травы, тянущейся к линии горизонта, на всю длину сухостоя…

…а потом снег проходит, и снова надо грести от корней, расчёсывать кусачие кусты шиповника, например, как гребенкой.

Тот самый минимализм, которого почти не бывает в природе — минимум цвета и подробностей, всё как под спудом, под паром, дышит, разогреваясь, греет воздух тем, что лёд уходит с каждым днём всё глубже и глубже.

В самые бронхи земли.

Смотрю на снимки (в этом месяце решил начать не с обычных «видов из окна», но с самых многочисленных россыпей посёлка, чтобы сразу же отсечь у себя в голове самый большой массив фоток), а там снег в основном, хотя большая часть месяца прошла уже без него. Налысо.

Важно говорить о происходящем, заходить с разных сторон, углов, дискурсов и жанров, чтобы поймать язык, ну, или же не мытьём, так катаньем сформировать языковые практики понимания…

…ибо язык — это понимание и есть: описание объекта (ъекта, как говорил Курицын) даёт возможность осознать, с чем имеешь дело, причём как снаружи, так и изнутри.

Вот зачем запрещают говорить вслух, спорить, обмениваться мнениями, приближаться-отдаляться, вбрасывая тысячи фейков и ложных путей, ботов, придумывая «новые слова» и знаки, вводя фразеологические сращения и ложные ориентиры, дабы как можно дольше явление не определялось, но ускользало.

Языковая определенность уже не даст уйти в сторону и не позволит запудрить себе мозги — раз уж ты говоришь на языке прочувствованным мозгом: всё-таки физиология стоит за правду сильнее всех прочих материй, взятых вместе и заодно.

*3 мая*

Поразительно, конечно, апрель закончился позавчера, а я уже напрягаюсь, чтобы вспомнить, каким он был. Был ли вообще…

Тут и с памятью проблемы (возобновил ноотроп после паузы), и с плотностью переживания самой этой ткани жизни, которая есть всегда, любое мгновение, но которую при этом не пощупаешь.

Похоже на то, как плыть в плотной воде, оставаясь напрочь сухим.

За окном холодное солнце первой декады мая, тихо (глухо), как в танке.

Вот вам ещё один секрет информационной безопасности, сформулированный вчера в беседе с хорошим человеком: в моменты кризисов (особенно затяжных, выматывающих жилы) от новостей важно уставать отставать.

Тот случай, когда адреналин прямого эфира явно идет во вред, раз никто не знает, чем всё это закончится: переживание стресса в режиме реального времени, что может быть болезненнее и тяжелей?

Отставание от процесса всеобщего нагнетания возникает из-за самоограничений, сквозь которые самое главное всё равно просочится, но в уже обработанном, обезопасенном, максимально обеззараженном виде — вот как в выступлениях аналитегов, подводящих итоги очередного периода уже свершившегося набора фактов.

*6 мая*

День заметно удлинился, провисая посредине — в области обеда возникает каждый раз то ли складка, то ли акустическая яма, похожая на лёгкое головокружение — так качает органы чувств, когда автобус заносит на повороте: я пишу эти слова и в голове проступает картинка движения 34-го автобуса на Северо-Запад, когда после остановки «Чайковского» общественный транспорт вруливает в небольшой изгиб, исчерпывающийся следующей остановкой «Красного Урала», где Комсомольский проспект окончательно переходит в магистраль, прямую, как стрела (именно так его и описывал собкор «Комсомольской правды», рассказывая о табачных бунтах начала 90-х: «прямой, как стрела»)…

…так вот там, напротив забора п/о «Прибор», о котором аборигены говорили всякое, автобус слегка меняет траекторию, заставляя эквалайзер органов чувств вываливаться из траектории, заранее размеченной организмом; особенно если дело в апреле или в любой иной смене микроэпох, коих в каждый месяц напихано не менее трёх (хорошо бы когда-то составить их расписание) — просто весной, вслед за разницами температур и прочей машинерии времён кода (ну, или кода времён), меняется атмосферное давление, и пусть качает нас, качает как волна морская лёгкий апрельский бриз, напоминающий почему-то именно о Стокгольме и его невесомых тюлях, развевающихся за окном, словно бы в ожидании Карлсона…

Растяжка длительности дна дня требует перегруппировки акцентов: всё-таки лично мне более по душе короткие, низкорослые дни с глазами, опущеными вниз и вылитыми из единого, гомогенного вещества.

Всегда знаешь, как себя с ними и в них себя вести и кем внутри них самому себе казаться.

Но чем дальше в весну, тем больше неопределённости и всевозможных переменных (буквально), вспыхивающих спонтанными флуктуациями в течение одного дня.

Длинные дни требуют выдержки, внутри них масса дыр, напоминающих белые ночи и сгоревшие письма, когда, вроде, помнишь о чём писалось и как; иногда даже видишь слова, ставшие пеплом, но написанные как в реале, уже точно зная, что содержание послания полностью не восстановимо.

Весь апрель фрустрировались «актуализацией высказывания», непредсказуемым ходом общего текста, ярмом контекста, почти смертельно сдавившего слабую грудь, когда метафоры перестают работать, так как в мире, где возможны любые негативные сценарии, обострение и перенос становятся явлениями не искусства исключений, но именно что бытового распорядка.

Попытка влезть в чужую логику, вскочить в чужую голову — всё равно как натянуть сову на глобус: опыта 34-го маршрута здесь недостаточно.

Можно, конечно, пытаться делать плюсы из минусов и непредсказуемость обратить в наслаждение каждой минутой, каждым днём…

…но что делать тому, кто и без всякой актуализации высказывания ценит и наслаждается, смакует, переживая каждую минуту и каждый день?

Выбитые из пазов (вот как тела в автобусе маршрута № 34 «ЧТЗ — Автоцентр»), мы забываем, кем были ещё совсем недавно — ещё совсем зимой.

На фоне этого апрель сгорает без стыда следа, поскольку единственной задачей сознания здесь было выскочить из его границ и поскорее подобраться к девятому мая, когда, возможно, хоть что-нибудь станет понятным да определённым (игра ожиданием заключённых и заложников — отдельный вохровский способ слюноточивого садизма), хоть что-нибудь…

Выжить всё сильнее оплавляется в выждать, переждать, замерев на лету, сокращая количество выдохов и вдохов, а ещё в апреле я угодил к кардиологу, до сих пор обследуюсь, а это хоть и отвлекает, окукливает и сохраняет, но совершенно не радует.

Между тем апрель — самый радикальный месяц, предлагающий весь спектр услуг, всю гамму чувств: от снега взасос до скоропостижного таянья — и через ручьи (в этом году они как-то подозрительно быстро пересохли, несмотря на повышенную лохматость снежность) — к широкому раскрепощению голого и голодного (городного: «свобода приходит нагая…») ландшафта с зачатками зелени и сухости тоже взасос.

До первого реального (сухого) тепла.

Словно бы вся жизнь перед глазами промелькнула, пронеслась.

Сезон перемен особенно богат фактурами тающего и сжимающегося (постоянно увядающего) снега, сугробов, теряющих тургор от оттепелей до заморозков и, как на качелях, обратно — к бугристым поверхностям и талым водам самых разных оттенков и настроений.

Единственный перенос, который важно отметить: фирменные февральские «именные» рваные ветры случились в 2022-м уже весной: в конце марта и в апреле.

Раньше такого за шквалистыми не водилось.

Да и, пожалуй, что кошки вели себя «помартовски» шумно и дико именно в середине апреля.

Не раньше.

Словно бы они тоже ждали, чтобы всё поскорее закончилось, вот и перенесли свои шашни на более светлое и длинное время.

Парадоксальным образом ускорение времени реализуется через его дополнительную растяжку вроде застоя, впрочем, не особенно настаивающего на себе…

*19 мая*

Земля отогревалась, распрямляла затекшие члены, стирала складки из снега и застывших осадков: весна на самом-то деле, возникает в самой верхотуре, прогреваемой солнечными лучами до состояния тесноты, которая, наконец, начинает струиться на землю — и из глубины, в которую уходят остатки холода, заморозков и льда, оттаивающих в самую последнюю очередь.

Главная работа погоды невидима и свободна, а мы видим уже готовый результат, о котором и рядим.

Так это оно у нас устроено, из-за чего более всего волнуют незаметные изменения, когда привычные вещи словно бы утекают сквозь пальцы, но не в песок, а непонятно куда.

Печатная машинка исчезла не в раз и очень даже заметно, так как пересадка на компьютер потребовала многих и многих нервов — всё равно как пересадка с конки на автомобиль, точнее не скажешь.

Или вот как, например, отменили газеты, ну, мол, да, ничего личного, никакой политики, сплошная экономика, да цены на бумагу и логистику.

Недавно шёл в магазин за мойвой через недавно построенный сквер (деревьев в нем мало, зато много фонарей, мусорных баков, лавочек и светильников с претензией на дизайн), растянутый вдоль федеральной трассы, по которой обычно кортежи мелькают, когда начальники в Магнитку едут, и там, на одной из лавочек, сидит бабка с газеткой.

Казалось бы, что проще и естественнее, чем свежая газета на свежем воздухе (челябинцы оценят иронию о свежем воздухе, параллельном федеральной трассе), но я намеренно зажмурился (неосознанно) и прибавил шагу, дабы не разочароваться.

Так как по крупным шрифтам я уже понял, прежде даже чем осознал: это бесплатная газета, ну, например, про здоровье или садоводство, из тех, что раскидывают по почтовым ящикам.

Ибо теперь газеты — это, во-первых, дорого не только для пенсионеров; во-вторых, не осталось газет, которые стоили бы хоть каких-то денег.

Теперь за чтение того, что продаётся в киосках (без слёз не взглянешь), людям нужно ещё и доплачивать, так как вредно оно для здоровья.

Радиоактивно, стоглаво и лаяй…

Пару раз тут снились советские киоски, забитые интеллектуальной прессой, которую невозможно ведь было поймать — приходилось знакомиться и сходиться с киоскерами накоротке, дабы дождаться очередного номера «Театра» или «Музыкальной жизни»…

Проснувшись, я принялся считать, сколько газет и журналов, посвященных искусству, продавалось в Союзпечати, и сбился со счета в конце второго десятка.

Причем болгарскую «Картинную галерею» и беззубого «Юного художника» я тоже учел, как и «Декоративное искусство», обнаруженное мной слишком поздно.

Слишком поздно.

Казалось бы, чего естественнее, заходя домой, включать телевизор.

Еще недавно телевизоры называли «божками домашнего алтаря», а теперь эти божки, невольно застигнутые врасплох, вызывают у меня панические атаки.

Я ещё помню (значит ли это, что могу теперь обзываться «старожилом»?) самые первые празднования Девятого мая, законодательно учрежденные Брежневым, если не путаю, в 1975 году и их удивительно прозрачную тональность, словно бы соединившую медитацию Пасхи с драйвом Первомая, логично вытекая из них вот как первоцвет…

…важную роль в этом «печаль моя светла», кстати, принимало именно телевидение, связывающее отдельные очаги отмечания в единую всесоюзную сеть, аранжированную рахманиновскими вокализами.

Скорби в них было меньше, чем ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по Глаголу твоему съ миромъ, поскольку сколько бы ни было в прошлом жертв, понятно же, что оно более неповторимо!

Нечто схожее (я опять про отъем очевидного и естественного) произошло с социальными сетями, которые (казалось бы) легки и очевидны, как утреннее дыхание после того, как почистишь зубы.

Людям свойственно общаться, а соцсети — такая устная речь, ставшая письменной, остановленное время, оставившее следы.

Начальникам нет дела ни до газет, ни до соцсетей, ни, тем более, до трактовок рахманинского вокализа: власть тупо, как танк, в котором больше не тихо, исполняет задачу, поставленную собой перед собой.

Кто будет думать о каких-то бумажных газетах, если есть интернет, пока есть, так качайте и читайте…

Кто будет думать о ломках от исчезновения интернета (и продолжения разрыва логистических, а главное, привычных, естественных, бытовых) цепочек, если на кону информационная безопасность и обвал рейтинга?

Еще вот стыд пропал начисто. Будто бы авраамических религий никогда и не было вовсе: пару раз словил себя на том, что спрашивал в воздух, от удивления шевеля губами: «Неужели вам действительно не стыдно» — и тут же понимал неловкость (ненужность, стыдную избыточность) своего вопроса.

Воздух им уже не проймёшь, сознание тоже — ну, конечно, не стыдно.

Не стыдно, но стадно.

Стыд — чувство личное, ламповое, доцифровое, до-поточного периода. И это антропология уже. Такой антропологический разворот, чтобы звучало не сильно страшно. У нас же все мгновенно гиперболизируется. И ведь не скажешь, что потому что из-за того гиперболизируется, что страна большая.

Это такое свойство сознания, охваченного подозрениями и подтекстами, хорошо осознающего, что не всё так просто.

Глаза у страха действительно велики, и открыл мне это Евтушенко через формулу

про поэта, который в России, разумеется, больше, чем поэт.

Поэзия (и про стихи) Евтушенко было более близко просто, вот он и сказал, что штука в том, что у нас любое явление больше самого себя, стоит обратить на него внимание.

У нас сахар больше, чем сахар, и соль больше, чем соль.

У нас телевизор больше, чем телевизор, и театр больше, чем театр.

А уж балет точно больше балета, как и Енисей больше любого другого Енисея в мире.

И Пелевин больше, чем любой такой Пелевин, и Сорокин больше, чем Сорокин.

И Толстая, и Толстой, и другой Толстой, и третий, и потомок всех Толстых сразу, и Улицкая у нас больше, чем Улицкая.

Тем более что она такая — одна, совсем одна, зато для всех сразу.

Как и Алла Борисовна.

И это я еще про Михалковых не вспомнил.

И это я еще о Высоцком не упомянул.

У нас любая шмакодявка с книгой выглядит писателем только оттого, что раздувается до размеров прозаика и премияносца с уровня мышей и уровня плинтуса с минус первого и даже с минус второго.

Не говоря уже о колбасе и туалетной бумаге, не говоря уже о свободе слова, совести и отсутствии стыда.

Сначала кажется, что речь будто бы идёт о сравнении наших предметов с теми же самими газетами, колбасой или телевизором в других странах, где все они равны себе, но нет же…

…штука в том, что это именно сами явления растут у нас, как на внутренних дрожжах…

…на своей имманентности и зацикленности на том, что должно быть чем-то обыденным до незамечаемости.

Нельзя же жить просто, существовать растительно, потреблять намеренно, нет и нет: нужно обязательно умирать во имя, терпеть настоящее, ждать лучших времен и выживать во имя общего прошлого.

И снег у нас больше снега, и зима больше зимы, только вот лето короткое и зарплата меньше, чем ставка, и меньше, чем можно прожить.

Плохое разбухает и увеличивается както охотнее хорошего: эпидемия или война, агрессия или тупота.

Бухать в России больше, чем бухать, и спать в России более, чем спать.

Подлец в России больше, чем подлец, и вор в России больше, чем вор, а уж если убийца…

Оно и верно: хорошего много не бывает, несмотря на то, что хорошее в России больше, чем хорошее — оно сразу всё: и смысл, и цель и к ней движение…

Страна выпуклых возможностей с боками, литыми из самоварного золота, искажающими пропорции до тотального неузнавания и полной гибели всерьёз.

На том стояли, стоим и продолжать строить будем.

*4 июня*

Май вышел холодным.

Мне это не мешало, мне это нравилось, так как прохлада замедляет движение (в том числе и общественное, в том числе и политическое, в том числе и военное), делает его видимым и особенно ощутимым в деталях, будто бы овеваемых ветром.

Интересная в быту шизофрения раздвоения: с одной стороны, май как бы продолжает длиться, лить свою тревогу с небес, но, с другой, то, с какой скоростью май удаляется в вечность, убегает в слои забытого и окончательно окаменевшего, косвенным способом показывает, как сильно мы ускорились в своем прохождении маршрута, набрав инерцию этой скорости внутри размеренной шкалы времени и времен.

Сейчас пик эпохи сирени, но еще совсем недавно (в обобщенном вчера) цвели вишни и сливы, а затем яблони и груши, и время тенью пробегало по купам цветущих деревьев, сладкоголосым ветром летучей юности, такой порывистой, нежной и такой скоротечной.

Месяца удлиняют события и поступки, деликатесы и закуски, завязшие в наших воспоминаниях хотя бы собственными следами, иероглифами следов — вот как облака и воздушные разводы; вот как следы на воде.

Фотографировать следует или то, что не меняется, казалось бы веками (и тогда станет понятным, очевидным, насколько радикально меняется все, и даже Питер или Венеция), или то, что исчезает почти мгновенно.

Буквально на глазах.

Люблю эти эффекты, возникающие за окном, и такие дни, когда картинка меняется каждую минуту — сколько бы ни подходил к окну, а за ним разные пейзажи.

Стоило неделю прожить под дождём, и начало казаться, что Урал просел в полосу приморья, стал чем-то вроде лимана: по сытости внутри и по сырости снаружи, по сну с открытыми глазами, наконец — это когда для продолжения дел достаточно представить свою голову лежащей на подушке…

…такой же влажной, как в поездном купе.

Но ведь и солнечный ожог этот тоже ведь останется с нами навсегда — в личной истории покалеченных городов людей, которым еще жить-поживать да добра наживать, хотя тому добру противятся все объективные условия общественно-политического режима…

Впрочем, возможно, это просто я такой истеричный.

Днями вышел из чата одноклассников, просто ушел, не выдержав простоты…

Безмятежность и тишину еще терпел как-то, но простота, переходящая в глупость, становится невыносимой особенно теперь, когда у психов вроде меня всё обострено до предела.

С другой стороны, и где та мера, которая способна затушить изжогу дня?

Вот товарищ пишет, что в театр можно, а в кино — уже кринжевато, хотя, с другой стороны, поход в кино более близок обычной жизни, просто-таки инсталлирован в нее и, следовательно, к условиям, параллельным войне, более подходит выживанию и сохранению человечности, тогда как театр — барство, конечно.

А что делать, если я оперу люблю до самозабвения?

И зачтется ли мне челябинское столпничество в течение едва ли не полугода в разрешении именно модернистской оперы, которую легко можно приравнять к поеданию сыров с плесенью…

…А если можно сыр с плесенью, то, может быть, и икорки себе разрешить?

Нет, не чёрной, разумеется, но сугубо красной, банальной красной икры, столь полезной для сохранения здоровья и поднятия иммунитета.

Я слежу за тем, как разные извилины хитрят друг перед другом и договариваются где-то на уровне нейронных цепочек, вырабатывая оптимальный режим переживания того, что невозможно ни отменить, ни не заметить.

Половина четвёртого, темень.

Смолкли собаки, но стали слышнее дороги, точнее, шоссе, федеральная трасса, лишённая автомобилей…

…и лишь соловей заливается возле неё в кустах персидской сирени каждую ночь, словно механическая игрушка с электрическим приводом.

Но, чу, вдруг шторы захлопотали лицами, застучали оконные рамы, и двери веранды хлопают, словно встречая с долгой дороги гостей, дорогих, но нервных.

Пространство словно бы расширилось и впустило в окоём весь свой резерв.

Сразу запахло железной дорогой, вагонами повышенной комфортности, Гомером, пустыми полустанками: ветер странствий, как есть, подхватил портки, подол да ворвался, сделал красиво, светло.

Словно бы спазмы предгрозовые несут ускоренный, несколько рваный рассвет.

Иногда писатели своих старинных дневников любят включать в текст подобные сцены, чтобы сохранить их в себе навсегда, и мне нравится внезапно натыкаться на описание текущего, текучего момента.

Особенно если писатели эти уже давно мертвы.

Если возможен процесс воскрешения предков по Фёдорову, то начинать его нужно с переживания таких вот моментов, где прошлое встречается с будущим, высекая из этой встречи икру искру.

*10 июня*

Полнолуние меняет погодный тренд, словно бы давая заглянуть на обратную сто-

рону Луны: если было пусто, то станет густо, если было густо — жди рассеянной и задумчивой прохлады, этот год богат на паузы и задержки, влияния и вливания холодных струй; что-то ведь сдвинулось раз и навсегда.

Нам никогда не быть как прежде: май был крут, в смысле: сварен вкрутую, замедленный и задымлённый, он зеленел и наливался цветом и светом будто бы исподволь, словно бы нехотя, без особого рвения, мол, ну, да, если надо и раз программа заложена, то всё равно ж никуда не деваться, будем расти в сторону лета…

…словно бы эта весна не была весной, но чем-то иным, внеположенным, наваливающимся поверх того, что должно было бы быть — точно так же, как лето теперь не очень походит на июнь.

И не оттого, что очень уж холодный и дождливый (сегодня, в полнолуние, была гроза, но она накинулась поверх городских +27, которые здесь воспринимаются почти как +30, особенно на солнце), просто это какое-то иное состояние, валентное всему и одновременно ничему привычному, имманентному…

…как если залетело сюда из ниоткуда…

…как если выказало свою изнанку, а она вот такая вот…

… словно бы самоорганизовалась, да нам не сказала…

…словно бы легла поперёк…

…словно бы и не погода это вовсе…

Весна и май вскипали и продолжают вскипать там, где цветут фруктовые деревья, когда к ним добавляются ароматные кусты, которые вскипают, затем осыпаются, выдавая шум листьев за запах дождя.

Нам повезло в этом месяце на влажную погоду, хотя земля умудрялась оставаться сухой — и это несмотря на повышенную снежность, заносы и хроническую гололедицу, приноровившуюся демонстрировать свойства ангинного зева.

Вспомнил сугробы и снег, так как цветущие деревья есть негатив проталин: локальные острова нежнее нежного, батистовые заплатки на грязном рубище пригородного посёлка — мы же вновь на Печерской, и характер её, паскуда, покуда никуда не делся.

Читал тут модную книгу: девушка после расставания с любимым уезжает в путешествие по Европе, меняя города как перчатки — это позволяет ей переработать ситуацию, а для этого дистанцироваться от неё.

Достопримечательностей в этой книге меньше, нежели мысленных мыслей, как произнесённых вслух — во-первых, для того, чтобы понимать, что произошло, во-вторых, дабы разобраться, наконец, с постылым.

Города врачуют, вечеруют, точнее, отчуждение это оказывается полезным — видеть всё, как в первый раз, даже если ты и видишь всё, как в первый раз.

Просто жить так и надо, как если зрение находится в самом начале и только-только начинает узнавать мир вокруг.

Лишая восприятие привычки, мы молодеем.

Лишая зрение накатанных дорог, мы помогаем бытию стать вновь актуальным, каждый шаг переживающий как новость.

Понижая (возможно, искусственно) вовлечённость в окоём, можно сконструировать событие даже из поездки на троллейбусе, ходящем до АМЗ…

…и даже на трамвае, которые до АМЗ не доходят, делая кольцо у Областной больницы, остановках примерно в пяти от посёлка…

…тем более событием, переворачивающим не только внешний, но и внутренний ландшафт, становится самолёт или же железная дорога со всеми её ржавыми остановками.

Тем более что нынешний модус вивенди — побег.

И даже добровольное бегство, обдуманное в неторопливой тиши, может считаться вынужденным путешествием, странничеством, перемещением…

## Часть вторая

### В Москве

*21 июня*

Москва вышла из моды. Она больше не возбуждает добрых чувств, не провоцирует

привлекательные, положительные образы: Москва отныне город, из которого бегут.

Из Москвы за эти месяцы уехало людей как ни из одного другого города — людей важных, формообразующих для окружающего ландшафта, работающего на его манкость, привлекающего всё новых и новых пчёл, опыляющих культурный слой по цепочке.

Лишения уравнивают большие города и малые. Хотя это не точно, так как логистика и количество внимания везде разные, да только тренд на отсутствие развития и снисхождения вниз, на стагнацию — повсеместный.

Мода — это ведь предложение будущего, короткого, но яркого соучастия, выхода вовне, распахнутости, раскрытости, отсутствия второй скобки, закрывающей высказывание; мода — это желание присоединиться.

Москва более не является центром притяжения: огни проспектов заманчиво горят, но выставки резко проредили, концерты тоже, да и настроения особого ходить туда-сюда нет, особенно-то под двойным давлением режима, здесь и на войне, не походишь.

Если через [навязанную] силу.

Цены опять же. Инфляция. Ожидания товарного дефицита.

За что хвататься и что запасать?

Больше всего теперь Москва напоминает город-призрак: всё, вроде, на месте, винтики крутятся, но вхолостую, так как выхлопа больше нет — будущее отменено раз и навсегда.

Города живут ради развития, которое развивается ради того, чтобы люди жили лучше, а если лучше уже не получается, то получается центральная часть Ташкента или Пхеньяна.

Тем более что Собянин продолжает методично зачищать всё живое, теплокровное и складчатое — органическую часть городской жизни, нарастающую вместе с человеками и их неотъемлемыми потребностями.

Ну, там, потребность хлеба купить по дороге домой после трудного дня трудового, или же молока, молока попить прохладного, успокаивающего, тягучего.

Молоко также можно использовать в готовке, но продавать его не очень инстаграмно, поэтому у меня на районе оставили только киоски мороженого и прессы (а это отдельная боль).

Кстати, в мороженом тоже есть молоко, если очень понадобится, конечно; молоко и даже сливки через раз.

Столичная заносчивость испаряется вместе с горечью у тех, кто остался — гордиться больше особо нечем, бонусы срезаны.

Зато магазины стоят заполненные товарами — извечная российская логистика везти всё через Москву работает практически как раньше.

Но, в отличие от торговых сетей, сам город стоит пустой, притихший, северный почти из-за ежедневных дождей и хронической пасмурной хмари; сирень здесь не цветет, но гниет, не успев распуститься.

Застыла в полуприжке и полуприсяде одновременно: её почти не ломают, она почти никому не нужна: влюблённые уехали, остались в основном командировочные (но и их всё меньше, меньше и меньше), пэнсионеры, выживающие с лужковской ещё карточкой москвича, да карьеристы, но уже не из Восточной и Северной Европы, а из Близкой и Средней Азии.

Мода — это что-то из области умозрения, духа и бытовой культуры, но именно она выражает себя в конкретных последствиях, которые отменить уже невозможно.

В немодном городе, переведенном на дежурное освещение, резко падают цены на аренду и недвижимость…

…как правило, начинается с элитного сектора, но понимая, как оно работает сверху вниз по всей парадигме, легко понять, что дальше будут отменяться не только Пушкин с Толстым, но и все прочие ценовые сектора да сегменты.

Перестройка тоже ведь начиналась с говорильни, публикаций и концептов, которые нарастали, нарастали, покуда не стали необратимыми для СССР.

Начальство решает свои, сугубо практические задачи, не обращая внимания, что творение Деррида цветёт по всем фронтам и развивается ядовитым плющом,

проникающим во все поры и щели социального организма.

Деконструкции оказываются подвержены материи, казавшиеся не просто незыблемыми, но фундаментальными, как, буквально, кровь и почва.

Унижение Москвы пройдет минимально по тем, кто не раздувался и не раздувал эго, но был равен себе и жил не на миру, а своим частным порядком.

*5 июля*

Только теперь дошло, почему переезды туда-сюда и обратно действуют на меня столь обременительно — просто каждый раз моя Москва обнуляется, начинаясь заново.

Если нет постоянной работы и присосок к контексту вовне, значит, всё сама, сама, сама да из себя.

Я уже касался когда-то всего этого, приравнивая два города моей жизни к двум стенограммам, сменяющим друг друга, — двум осциллографам, фиксирующим стенограммы интеллектуальных процессов…

…к которым, следовательно, сводится всё моё существо?

Раз уж это именно они лежат в основе всего и трудятся основой фиксации, базисом настроек эквалайзера, воспринимающей машинки?

Но дело не в трудах, которые можно подытожить, чтобы перебраться на новом-старом месте в иную точку обзора — вот как кошки собирают своё бытие из перемещений по точкам, из которых они осматривают то, что их окружает, на предмет опасности или ништяков, — дело в быту, который тоже меняется вслед за потребностями стенограммы.

Раз уж в разных местах демонстрирует она совершенно различные агрегатные состояния.

Давно уже существую тяжело и непросто, без [стабильных] доходов и достаточных денег, в перманентном кризисе незнания, как жить дальше.

Недавно поймал себя на странном чувстве, что теперь таких, как я, вокруг большинство.

То есть раньше это как бы было моей индивидуальной особенностью и осознанным выбором — находиться среди людей ощутимо выше меня…

…а теперь, когда всеобщие доходы подравняли, вычли из них всё, что только можно, часть индивидуальности исчезла, испарилась вместе с надеждой, что в самые тугие годы можно будет обратиться за помощью к тем, кто повыше социальным ростом.

Конечно, не обратился бы (гордость не позволяет), но надежда перпендикулярна потенциальным возможностям и не считается с чувствами самооценки, бреднем бредёт.

А теперь не бредёт, получается: я вновь в середине потока, вновь сбережён от его крайностей и укутан со всех сторон тем, кому еще труднее и сложнее, я вновь как все!

Это ли не праздник идентификации с родным российским народом?

Проседание всеобщих доходов вниз (вперед, в девяностые, с шутками да прибаутками) — точка не только самоидентификации, но и встречи с другими, оказавшимися примерно там же: в состоянии новой нормы.

Мне ведь всегда хотелось быть как все, потому что это даёт запас прочности твоим текстам, ну, и отношению к тебе как к одному из нас.

Всегда боролся с особенным отношением к себе, раз уж я только текст, то и судить меня следовало бы на общих основаниях, исходя из качества написанного — только оно способно стать объективным показателем того, что есть я.

Ну, хотя бы оттого, что текстуальная харизма может уйти вместе с особыми обстоятельствами, которые первоначально облегчали точку входа и снисходительный прием.

Особенно если они завязаны на степень родства с человеком, имеющим ценность другим, ну, или с должностью какой.

Многие главные редактора прославляются в творчестве, олицетворяя собственные институции (хотя исключения есть и здесь, конечно — все зависит от цели, живёшь ли ты, как оно там тебе живётся, сносимый потоком, или же строишь карьеру, отрабатывая трав-

мы детской калибровки), чтобы после уйти с этими институциями в тень тени.

Я с детства рос сыном врача, ценимого в Чердачинске и знакомого практически любому, чтобы рано понять, что ласковые слова и внимательные взгляды — пустая формальность, заканчивающаяся с глаз долой — из сердца вон.

Почти с самого начала я искал чистого отношения чисто к себе, а не к обстоятельствам вокруг.

Танцует тот, кто не танцует — по рюмке вилочкой стучит, гарцует тот, кто не гарцует — с трибуны машет и свистит…

Мне повезло рано начать и, значит, рано избавиться от многих заблуждений и снисхождений (раз уж снисхождение это обязательно спуск вниз — вниз-схождение), ритуального балета бедных в стиле как бы чего не вышло, ну, или в жанре а вдруг…

В этом жанре выдержаны почти все взгляды в сторону богачей, у нормальных людей вызывающих приторное слюно-умиление, словно бы способное заставить их делиться с нами деньгами: всё то же мало ли и всё тоже а вдруг…

Земля ведь круглая, а на Красной площади — всего круглей…

Немногие способны рассчитывать только на собственные силы, без привлечения, ну, хотя бы мечты…

Моя печаль застыла неподвижно
Я жду напрасно не придёт никто
Ни днём ни ночью
И не приду я сам такой как прежде

Если всё время меняться — быстро забываешь, каким был позавчера.

Никогда не понимал тёрки про кризис среднего возраста (впрочем, как про любые другие кризисные моменты, время от времени накрывающие людей при входе в разные стадии своего существования, так как уже научился жить и вышивать поверх страхов и разочарований).

С какого-то момента они (страхи и разочарования) перестают приниматься в расчёт; выносятся за скобки.

Вот как в основе основ — в феноменологии Эдмонда Гуссерля, хотя бы и сведённой к бытовым авто-началам.

Плюс обнуления в том, что можно очередной раз перепридумать направление собственного движения.

Хотя в какую сторону ни крути, всё равно любимое состояние моё — сосредоточенность на той самой стенограмме внутренних рек, которые меняют направление и агрегатное состояние при переезде из Чердачинска в Москву — и обратно.

Сосредоточенности люди не нужны — ей важнее всего не отвлекаться.

И не отвлекали чтоб.

Москва — город контрастов не возможностей (закончились), но соблазнов — идёшь мимо реклам и афиш (огни проспектов так заманчиво горят) и понимаешь, что вот эти концерты нужно посетить во что бы то ни стало, и том ям поесть, и курицами в кляре перекусить, когда жара закончится…

…откладывая всё на потом, ибо пока жара, то ничего сделать нельзя, можно только пережидать жару — вот как войну и военное время, чтобы дожить до осени наших лучших времен…

…а там уже и до зимы тревоги нашей недалеко…

…и можно в Чердачинск значит, по первому снегу, вернуться…

Как сосредоточиться на чем-то, если желания расползаются из рук в разные стороны?

Спроси меня, я знаю как, твой друг Пиши-Читай: нужно начать читать что-нибудь интересное, и тогда образуется центр, от которого можно плясать, а можно не плясать, читать без каких бы то ни было эмоций.

Читать без эмоций означает не планировать выхлопа, не хотеть писать: письмо ж это и есть эмоции, схваченные первым легком и остановленные на лету.

Остановленные, зафиксированные, но так и не успокоенные…

Почти всю жизнь я думал, что фотографирование мне не интересно, не нужно, противно, противоположно — и даже теперь, когда съёмки вышли из моды, став незаметными и

окончательно стёртыми от повсеместности употребления, став чем-то вроде технического сопровождения коренных процессов (записной книжкой, скетчбуком, блокнотом для набросков и запоминаний на живую нитку), к которому не стоит относиться всерьёз…

…но, странным образом, фотографирование стало прямым продолжением письма, делая видимой интенцию и направление взгляда, означивая всё то, что внутри.

Погружаясь в чужие миры (в то, что вовне) ещё сильней становишься собой — чтение и снимки есть точки притяжения, а не отталкивания, хотя бы по принципу аналогии или противопоставления, понимания себя через других и другое; учитывание иного через участие в совместной жизни на свежем воздухе.

На миру, на пиру, на юру.

…я был с тобой, мне холодно с другими, моя печаль застыла неподвижно…

Что ж снится тебе, Сванн, в мгновения, свободные от ревности и нетерпения сердца?

*11 июля*

Если задуматься (то есть отстраниться, остраниться) от себя, может показаться странным, насколько сам по себе отодвигаешься от всего — в том числе от людей, от времени своего, которое запрограммировано на подвох, сбой, неудачу, от пространства, в котором находишься, даже от времени года.

Лето распространяется по классической схеме «там хорошо, где нас нет»: гроза чередуется с температурными обвалами, совсем как в горах, сухость с дождями, ливни — с грозами.

Переменная облачность спасает от зноя прямых лучшей, стирает тени, но дарует бархатный ветерок — уральская жара устроена совершенно иным способом: она полностью неподвижна, как столп и утверждение истины.

А тут и влажность иная, и плотность щадящая, исполненная полутонов…

…хотя главное сезонное противоречие и здесь всё то же самое (видимо, психосоматическое): от горячего воздуха хочется лежать, может быть, спать, но сон в тёплую пору сворачивается, что молоко, и не даётся, спится плохо, поверхностно…

…словно бы на поверхности парного водоёма покачивает…

Голове постоянно нужен нырок вглубь, ну, или же хотя бы подпереть щекой (левой?) подушку, но тут именно что сложнее всего почему-то до кровати дойти — и тем более лечь.

Всё по правилам, всё по порядку, но тем не менее спохватываюсь постоянно: мол, надо же, как летом совсем…

Может, один я такой, выпадаю и выпал уже из процесса, отделился от времени года, которое следует пережить, чтобы жизнь вернулась в границы?

Мгновением после спохватываешься, что так ведь лето же и есть — мухи, жара, тополиный пух, шорты, сандалеты, на черешню цена падает, да всё не упадёт никак, но окрошку делать — самое же оно, так почему тогда не лето-то?

Это не трубка.

Осталось понять, что, так как и Москва мне не Москва, а тоже ведь достаточно условная территория; полустанок сна.

Тем более что эпицентр невозможен — нельзя же поместить себя туда, где теперь и происходит всё самое главное, переместить в самое важное, тогда как оттуда все и бегут… ибо важнейшая доблесть — избежать, чтоб сохраниться.

Ринг объясняющего господина (есть такой персонаж у Чехова) — одиночки, знающего, как надо и лучше всего как, приносящего себя и своё персональное время в жертву пользователям чужих знаний, навыков и умений.

Объяснение, повторюсь, от одиночества, от отчаянья, от привычки быть невидимым и свободным, не имея градаций и делений, четвертей и сессий, как и всех прочих порционных делений, так как суть всегда едина и неделима, как само существо.

Я о том, что в первую половину жизни люди настроены оптимистично — они про любовь и надежду на понимания, раз уж всё так очевидно и лобово.

Правда, ближе к середине пути начинаешь задумываться, отчего не считывают-то, если всё настолько элементарно (ну, то есть разложено на элементы), вот и начинается разъяснительная работа, покуда не втягиваешься в неё, как в очередную (ещё одну) дурную привычку.

Проще, конечно, наплевать, так и продолжая оставаться в тени с несметными сокровищами духовного опыта, накопленного за долгие-долгие годы, но темперамент похож на архитектурные излишества и стили: поменять их невозможно, даже если очень хочется удешевить капитальный ремонт.

Одиночество можно победить, превратив его в уединение, то есть полюбить, присвоив и одомашнив до состояния ручных домашних животных — вот как Маленький принц победил Короля, который разрешил улететь Маленькому принцу со своей планеты, раз удержать его невозможно.

Вторая часть жизни — про страхи, смерти и умирания, болезней и всяческой там несостоятельности — от экономической до творческой, от экзистенциальной до не-экзистенциальной.

Плюс холестерин опыта, плюс накопленные привычки, подменяющие индивидуальность, плюс инерция всевозрастающего тормозного пути…

Какая Москва, если лезгинка за окном второй вечер подряд?

Тепло, лезгинка, холодная минеральная вода в холодильнике, царапающая пищевод удивлёнными пузырями, модернистская проза на завтрак и на обед, покуда левая щека не притянется силой притяжения к хлопку…

Это ведь судьба разговаривает с человеком на своём языке, и то, что мы понимаем как символы и знаки, есть лишь чёткие цепочки бесконечных причин и бесконечных последствий, которые важно уметь расслышать, а потом применить в правильном направлении.

Смириться, так сказать, с судьбой…

…особенно если сам стремишься в условную Венецию духа, а она, злодейка, подсовывает максимум Москву (если ты в Чердачинске), или Чердачинск, когда ты в Москве.

Внутренние демоны обещают Нобеля и полёты на Марс, конную полицию на чтениях и снисходительно-завистливые улыбочки тех, кого презираешь давно и безнадёжно, тогда как в реале нужно опять выбирать между «Пятёрочками» (они скуднее, но сразу с двух сторон Ленинградского рынка) и «Магнитом» (они дешевле и дальше, на Черняховского)…

…а когда хочется в Лувр или Д'Орсе, собираешься на Крымский вал, так как это и есть планида, которую следует не просто принять, но полюбить как единственно правильную и верную: во-первых, другой не будет, во-вторых, есть, давным-давно существуют технологии писательского отчуждения, позволяющие найти и в мизере красоту, а также сытость.

Сытость и красоту. Витамины…

И вот уже Москва — не Москва, а какой-нибудь Гринвич-Виллидж; да и лето — не лето, но, что ли, поверх всего…

Поверх барьеров, раз уж реальность — это барьер.

Исходи из того, что другого не будет.

Реальность люби, а не мечту, здесь Родос, здесь и прыгай.

Тут как раз написала мне Оля, дочка моей учительницы литературы Нины Степановны Терещенко, и, еще только увидев заголовок сообщения в почте, я понял, что Нина Степановна умерла…

…вопрос только когда, скоро выяснилось, что ещё шестого марта (1943–2022), похоронив мать на Митрофановском кладбище АМЗ, которое я и себе присмотрел, если что (если что) в городском бору, действующем умиротворяюще и смиряющем печаль…

Сказал Ольге, что отношения с Ниной Степановной были сложными, но на всю жизнь, поэтому из конструкции, на которой базируются мои многие причинно-следственные закономерности отношения к миру, вновь вытащен большущий камень и день, этот конкретный жаркий день начала июля, переживаемый в Москве за шторкой (в открытом окне дергаются деревья перед бурей и грозой), изменил траекторию и пошёл непредсказуемым образом.

Я, конечно, написал другой Оле, однокласснице Оле, печальную новость, чтоб она

смогла передать её в чат одноклассников, из которого я убыл, ну, или, точнее, выбыл по собственному желанию, а вот своим уже говорить не стал — в том числе сестре Леночке, тоже ведь учившейся у артистичной Терещенко семь лет спустя — по моим-то непростым следам…

…после чего, если я правильно помню, Нина Степановна покинула среднюю школу, переместившись в ЮУрГУ, где и преподавала до последних лет, и я радовался, что она выбрала себе более интересную и адекватную долю (ведь что такое школа, как не самое дно, ну, или же основа социологизации?), что позволяло забыть о человеке на «позитивной ноте» (это важно), отпускающей его уже практически навсегда в ощущение свободного и бесконечного потока…

Хотя бы потому, что всех держать в себе невозможно…

Для того, чтобы, освободившись от бремени прошлого, расправить затёкшие члены — невозможно же всё время жить в полуприсяде прошлого опыта, нужно уметь избавляться от него, как-то утилизировать, вот и утилизируешь, забывая интонации и лица…

Я сейчас не о Нине Степановне, интонации которой забыть или окончательно вылечить невозможно — она была удивляюще красивой, поведенчески необычной, артистически как бы раскованной, из-за чего и обжигала на общем невыразительном фоне ещё сильнее…

…только потом понимал, что школа совершенно несовместима с ахмадуллиностью, следовательно, за богемными кудряшками и блуждающей улыбкой таится хищная драма, способная выпрыгнуть при первой же потенциальной возможности — напомню, что мы заканчивали школу в середине 80-х, то есть на самом пике декадентщины и советского викторианства, в пике надрыва и странной усталости от всего, что вокруг, из-за чего неврозы принимали явно эротические подтексты (половое созревание накладывается на всеобщее ханжество и дистиллированную духовность при тотальной, тоталитарной нищете) — такой клубок в себе Нина Степановна и носила…

То, что она ушла из школы в университет, было выдохом и несло ощущение освобождения…

…высвобождения и открытого финала, как в кино или в книге, заканчивающаяся многоточием, как если смерти нет, но есть обложка.

Словно бы мы закончили свою школу, а Нина Степановна — свою, а теперь и пошла по расширяющейся тропе в сторону безграничного счастья, раз уж она заслужила если не вечности, то уж точно покоя.

Хотя долгое время может казаться, что школьные учителя вечные, раз уж пришли сюда раньше нас и уходят, когда мы об этом не знаем, но не до конца, а точно отъезжают куда-то в тень, подобно садово-парковой скульптуре.

Конечно, педагоги, подобно философам, должны нести ответственность за своё учение, которое ведь, вроде, свет?

Значит ли это, что занимаются они выжиганием?

Я сильно не люблю свою школу, особенным местом в котором была она и была Надежда Петровна в коробчонке вечной библиотеки своей, но если родная Петровна меня с школой примиряла, примиряла, да и примирила, то Нина Степановна оказалась достойна своего ученика (или наоборот — ученик оказался побеждённым демонами своей учительницы), теперь, впрочем, без разницы уже: смерть обнулила и это.

Хорошие ученики — те, кто забывают учителей напрочь, стирают их из своей памяти, будто бы никогда и не было вовсе, а живут так, словно бы их никто не учил, не мучил, не травмировал разлётами ежедневных развилок, оставляющих следы и ожоги даже под кожей.

И теперь что мне делать с этим голосом судьбы, проявившимся в горячий понедельник?

Бросить вообще всё и как можно скорее вернуться домой, на Урал?

Усилить усилия по охране здоровья и аккуратности поведения в соцсетях?

Еще больше внимания оказывать родителям и постараться не разлучаться с ними, несмотря ни на что?

Броситься во все доступные омуты, до которых можно дотянуться рукой, так как один раз живём?

Засесть за ещё один текст?

И ещё за один, и ещё за один, и ещё?

Говорить ласковые и нежные слова всем, кто попадётся под руку, без разбора?

Или же, напротив, ожесточиться, замкнуться в гордыне собственного медленного умирания, презирая всё, что посмело забыть о самом главном?

С голосом судьбы есть только одна засада — её модуляции становятся внятными лишь постфактум, когда устаревают и остывают, но не окончательно, хотя почти всегда и бесповоротно.

В своем кабинете изящной словесности, между всего прочего, Нина Степановна попросила написать на ватмане лозунг из наследия поэта Острового (или Островского?), если я не путаю:

«А что такое есть литература? И защитить сумеет, и напасть…»

Я так и иду с этой песней на слова Острового по жизни, исполняю заветы, отпечатавшиеся ещё со школьных времён.

Оставлю здесь для памяти, ибо не гуглится: лишь к пятидесяти я понял, что ударение в слове «напасть» здесь надо ставить не на втором, но на первом слоге, раз уж эту напасть действительно не преодолеть. Особенно в бытовом смысле.

А что такое есть литература?
И защитить сумеет, и напасть.
Литература – это диктатура,
Добра и зла стремительная власть.

Про Нину Степановну всегда думалось, что она достойна лучшей доли — вот именно такими словами, если бы со временем опять же не стало очевидным: эту фразу можно отнести буквально к любому…

Улица Печерская как линия моей судьбы, как линия отрыва или что-то иное (шов притяжения), где можно спрятаться, а можно обменять на символические пятаки, кто ж подскажет?

*24 июля*

Снимков теперь делаю мало, так как, уехав в столицу, я оборвал наблюдение за тем, как сад становится полным, наполняется цветением перед самой премьерой, как партер грядок и парников, поначалу пустой в заснеженном ещё марте и, кстати, даже в апреле, изнеженом пустотой с коротенькой, стриженной чёлкой, заполняется зелёными зрителями и зеваками (цветение фруктовых кустов и деревьев в мае таким образом приравнивается к увертюре и поднятию занавеса, расписанного Головиным), чтобы сопереживать жаркому, знойному лету, похожему на трёхчастный спектакль…

Я-то себе объясняю метаморфозу московского существования вне этого садика тем, что оно ни в коем случае долго не продлится, что я вернусь, и значит, это выходной, каникулы, выдох, тем более что причёской (направлением взгляда) и мыслями я всё ещё безвылазно там.

Живу на два полушария, как другие порой живут на два дома, на два города, на две страны….

Так как есть, к примеру, такой устойчивый искус прожить свою сознательную жизнь подобно одному из любимых затворников, определяющих интеллектуальные (то есть сознательные, осознанные) границы наших умственных идентификаций — даже если переменные этих ориентиров, периферийные, не постоянные, но прерывистые, возникающие по мановению…

…а может быть, и надолго исчезающие, вот как подспудные течения или устойчивые лейтмотивы.

Достаточно вспомнить Мишо, Бланшо, Чорана или же Моранди, несмотря на мировую славу жившего с двумя незамужними сёстрами то в городском, то в загородном доме.

Оба они сегодня музеефицированы в Болонье, их можно посетить, но навару от них как и от любого другого дома-музея, сохраняющего аутентичность разве что на уровне рассеянных и второстепенных ароматов, точнее, их полутонов, плавно переходящих друг в друга, где-то за спиной, не так чтобы много…

Натюрморты Моранди — промежуточная ступень между архитектурой Пьеро делла Франческо и визуальными рассуждениями Сезанна (цилиндр, круг, прямоугольник) есть самый последовательный дневник его жизни не меньше записок Чорана или, тем более, Бланшо, которого, кстати, мы представляем в основном по отражениям и чужим реакциям, а не таким, каким он был на самом деле…

Жаль, что интеллектуальной биографии Бланшо, не особенно яркой внешними проявлениями, нам не дождаться — вместо этого у нас есть альбомы Моранди с посудой, напоминающей застывшую и уже отзвучавшую музыку дома на холме.

Неважно, что замкнутость такого человека, как Чоран, диктуется клиническими показаниями (хроническая бессонница, неврастения), такого человека, как Бланшо возрастом (ему всегда под сто), а такого человека, как Моранди, — меланхолическим темпераментом, адекватно воплощаемом в своём искусстве белых ночей бесконечных вариаций одних и тех же, весьма ограниченных, предметов и жанров…

Важно, что в центре каждого из таких одиночеств лежит сосредоточенность, от которой, прижав однажды хвосты второстепенных хотелок, привыкнув к одежде размеренного осуществления, плавно переходящей в самодостаточность, так болезненно оторваться.

Для сосредоточенности, продуктивной в каждом из мгновений (раз уж она целиком заполняет весь объём оперативной памяти и не менее оперативного внимания), не нужна результативность — её плоды и есть незаметная со стороны жизнь в тени фруктовых деревьев; внутри сада. Внутри покоя.

Внутри частной собственности, вне кулис и софитов, заставляющих цепенеть очертания тела, словно бы подвисающие, замирающие на доли секунды на пронзительном свету.

На пронзительном свету навылет.

Свет — это важно, и порой его можно не включать, чтоб сквозь открытые окна лил лунную свежесть прозрачный поток, оставляя узоры на светлом полу: в тишине и в темноте тогда можно думать часами, если это действительно тишина и действительно лунный поток, а не бензоколонка.

Впрочем, почему бы и не бензоколонка или прожектор на крыше магазина игрушек и дубоватых развлечений?

Комфорт — это когда не задумываешься, как и что делать (поэтому асфальтовая дорога комфортнее мощёной и тем более немощёной, неровной, с лужами и ручьями, где важно понимать, куда следующий шаг сделать); частная жизнь — это когда не нужно собираться (напрягаться, группироваться), чтобы быть понятым или хотя бы понятным.

Долго быть в напряжении нельзя, чревато выгоранием, перегоранием, переводом органики в иное качество и измерение, например, в стеклянное, оловянное, деревянное.

Деревенение идёт изнутри и связано не столько с ментальным здоровьем, сколько с физиологическим, тогда как остекленение — реакция на других людей: когда их слишком много и уже невозможно справиться с количеством чужого внимания, направленным на отныне публичную личность.

Чтоб не метаться между вниманием к людям, количество которых превышает возможности ответа публичной личности, нужно решать их скопом, как множество, окрашивая интенцию единым колером, без каких бы то ни было оттенков.

Получая в ответ, кстати, примерно такую же, монотонно-одноцветную окраску реакций.

И чем больше охват потребителей, тем одноцветней обмен энергиями вопросов и ответов.

Стеклянность делает такого популярного человека как будто понятным и просматриваемым насквозь, следовательно, одномерным, в лучшем случае двухмерным…

И эти ограниченные измерения накладываются на публичных персон с такой силой, что, действительно, начинают перерождать их, поддерживания процесс то ли эволюции, то ли мутации ну очень большими деньгами…

Это значит — такими деньгами, на которые первоначально расчёта не было, пока они не стали привычной причиной, единственно возможной данностью, вот как национальность или же гендер.

Прозрачный человек вынужден прятать избыток себя в ящики комода и запирать их

в гардеробной — отныне режим его самости подобен электричеству, включающемуся или выключающемуся по щелчку тумблера.

Нужно ли говорить, что такой тумблер всегда временный и почти всегда (за редкими исключениями) ломается?

Что он, этот тумблер, автоматически, как вся техника, настроен на катастрофу поломку?

Остекленение начинается с глаз, откуда и распространяется по телу одновременно во все стороны, однако именно глаза проще всего выдают то, что ещё осталось внутри и не прибрано, не классифицировано, не квалифицировано так, когда персонаж понятен с опережением.

Правда, потом, уже совсем скоро, стеклянные глаза начинают говорить не от лица того, кто ими обладает, но от своего собственного, стеклянного посредника, присвоившего себе сначала имя-фамилию, а затем и личность-личину.

Публичная персона говорит не то, что хочет, но то, что может говорить, как тот самый человек, которого все знают — и, следовательно, понимают (да ещё с опережением), на что он способен, пока окончательно не станет карикатурой на самого себя — ведь продаваемо лишь то, что узнаваемо и понятно.

Это как вырасти в совсем маленьком городке, где все связаны со всеми, из-за чего каждый сосед, и тем более близкий, будто бы имеет право на любого своего соседа, родственника, одноклассника, коллегу, связывая каждого такого земляка неразрывными путами ложного понимания.

Поначалу ложного, конечно, пока однажды каждый из нас, неуехавших или понаехавших, не перерождается из-за перманентного перекрёстного опыления облучения априорными формами знания во что-то принципиально иное.

Достаточно посмотреть на любого человека в телевизоре или на любого сочинителя, выступающего на публичном мероприятии, исполнителя, ну, или же просто на любую такую «публичную личность» (как пишут теперь в Инстаграме те, кому нечего представить, кроме своих тел, демонстрирующих огромную грудь, кубики или кроссовки), чтобы узнать накал этой фальшивой искренности, способной стать естественной и практически настоящей, совсем как другие выделения организма, вроде насморка или же желчи…

Уметь отчуждать искренность, делать её продуктом — первая стадия такого остекленения, включающегося внутри зрачков.

Что делают публичные личности в Инстаграме?

Каков их вклад в ноосферу?

— Они стекленеют, с помощью фильтров или модной одежды; или же без того и другого. Им платят за прозрачность, способную разбиться при первом же неловком прикосновении: стеклянность — это опасно, так как молнии прежде всего бьют по вершинам и отдельно стоящим деревьям.

Посмотрите на всех этих ургантов или на телеведущих (условно) телеканала «Культура», говорящих о духовном как о чём-то неотделимо и жизненно важном, посмотрите на литераторов, встречающихся с читателями на любой из творческих встреч, требующих натянутой струны откровенности, особенно заметно звенящей в прямом эфире…

— Если такие фигуры кажутся запредельно откровенными, чуть ли не до самообнажения, это лишь значит, что подлинная искренность их связана с чем-то другим, на более глубоком уровне залегания…

…с какими-то иными материями, менее очевидными соглядатаям и до сих пор остающимися в тени и тайной для тех, кому их искренность кажется наполненной или полной.

В своей открытости люди на свету ушли по головам поклонников немного дальше обычного — и то, что кажется, может показаться шокирующим в народной повседневности и в бытовом сознании, для таких персонажей материи давно уже отыгранные и многократно обдуманные.

Продуманные и неспонтанные, ибо уже окончательно ороговевшие остекленевшие.

Просто тот неформированный уровень открытости, к которому привычны органы чувств, не будет заметен на сцене публичности, без усиления он будет выглядеть стертым и пресным…

…необходимо добавить в него хотя бы немножечко фильтров, что рано или поздно обязательно приведёт сначала к перенастройке всего эквалайзера, а затем уже и остального перерождающегося, стекленеющего организма.

Обратной дороги в сад сосредоточенности не будет, даже если ну очень большие деньги дают возможность стеклянному человеку приобрести любое количество гектаров земли у самого синего моря.

Вот почему таким важным кажется мне не переходить эту границу публичности, оставаясь на теневой стороне улицы частных владений, заборами и оградами сливающихся в непроходимые массивы: больше всего на свете я не хочу стекленеть, раз уж такое стеклянство полностью противоположно интеллектуальной сосредоточенности, которую лично я ценю больше всего остального.

Больше того результата, который можно продать: отчуждая что-то от себя, мы не становимся больше, но, напротив, редуцируемся и слегка исчезаем, переходим, к примеру, в текстовое состояние, в амальгаму зеркал, отражающих читательские лики, так как если всё правильно сделал и по уму, то тексты скрывают автора, раскрываясь навстречу читателю, чтобы отразить в этом тексте его…

…или её, а не наоборот.

Хороший автор умирает в читателях или перерождается в них примерно так, как актёры перерождаются в зрительском восприятии в такого Гамлета или Офелию, которая нужна конкретному человеку из зрительного зала: тянуть одеяло на себя (делать манеру узнаваемой) можно лишь в изобразительном искусстве, где стиль и есть человек, тогда как литературоцентричные виды самовыражения — пища богов для чужого ума.

Подвижная и внутренне противоречивая, органическая ткань жизни, кипящее на поверхности её вещество естества всегда и важнее самовыражения (отдельная тема — кризис публичности в эпоху тотальной транспорентности, выражающийся в постоянно нарастающем недоверии инфраструктуре звезд и публичных персон, в усталости от верховодства и верхоглядства героев интервью, терзаемых по самым разным вопросам), да и вообще важнее любого из самых важнейших искусств.

И даже если способ твоего производства заставляет прибегать к существованию на миру, можно найти приемлемые формы компромисса: например, из всех сил стараться полностью не выходить в тираж.

*06 августа*

В районе Аэропорта выкорчевывают заборы — массивные столбы вишнёво-коричневого цвета с шарами вверху — их много тут было повсюду, у нас они и на Усиевича есть, и на небольших Шебашевских уличках, отходящих от Черняховского и змеящихся в сторону Ленинградского рынка.

В местных газетах («Север столицы»?) я прочитал, что это вызвано заботой о гражданах, так как увеличивает полезные уличные площади, снимает ограничения и преграды: думаю, что Ревзин с Бауновым легко объяснят про необходимость урбанизма в одном отдельно взятом городе социалистической культуры и быта — де, очищение общественных пространств от лишних перегородок и стен подобно расширению тротуаров и увеличению количества зелёных насаждений, позволяет расцветать Москве ещё сильнее, делаться краше и ещё более бесприютнее…

…так как в нынешнем, не самом мирном и спокойном контексте, лишение дворов дополнительных границ словно бы лишает дома важнейшей защиты — символических границ, позволяющих аборигенам мечтать, что максима мой дом — моя крепость относится и к ним тоже.

Разбор решеток и заборов выталкивает подъезды на улицу в голом каком-то виде.

Уже даже не в обнажённом, но именно что голом (маски сорваны), уподобляя их арестанту на допросе.

В переулке возле Шебашевского проезда видел вчера, что столбы с шарами уже демонтировали по всему периметру, но въездные ворота, ключи и шифры от которых имеют только жители окрестных пятиэтажек

(с этим у нас тут строго), а также безукоризненный шлагбаум оставили, ибо нефиг.

Отсутствие оградки не должно давать возможность удобной парковки разным там чужакам.

У меня всё это вызывает противоречивые чувства, так как монументальные аэропортовские заборы с претензией на стиль и даже архитектуру стоили массу бюджетов (да кто ж вам считает), а демонтировать их, вырвав из земли и почвы, присыпанной гравием в ожидании новой уравниловки (или уравнения?), впрочем, стоит не меньше…

…тем более что как любой мужской человек после пятидесяти с простатой, истерзанный нарзаном, я обоими ногами голосую за количество тенистых уголков в микрорайонах, лишённых внятной гигиенической инфраструктуры, привязанной в основном к станциям метро.

Точнее, к торговым центрам, к ним навсегда прилепившимся — к Галерее «Аэропорт» и Метромаркету «Сокол».

Ну, хотя бы и так, ведь раньше гигиена выживания была делом ног самих выживающих студентов и пенсионеров.

Не только город, но и каждый человек знает, как ему лучше нужно, как ему правильнее всего, удобнее и комфортнее — со стороны ведь заранее понимать такое невозможно, но можно спросить…

…вопрос доверия, да?

Каждый день слышу со всех сторон, как следует поступать в тех или иных ситуациях, контекстах, эпохах, и мысленно матерюсь на знатоков чужих жизней (первый признак, что не сложилось твоё собственное — это когда знаешь, как и что должно быть у родственника или соседа, коллеги или френда), окружающих голову, точно августовская духота…

А в первой декаде августа на Соколе жарко и душно до тесноты, до душевной невзгоды — все силы уходят на то, чтоб не подпасть под тенденции и не пропасть, чтоб дождя, значит, дождаться.

Дождь будет, придёт живительный, но просто не сразу: тут ещё мешает то, что общая беда постоянно обнуляет счёт — вроде бы, накопил небольшой излишек респекта или же интеллектуальной уверенности в мешочке с шелковой шнуровкой, ан нет, вспыхнет спичкой, добавит августу выхлопа, отапливающего улицу Усиевича, улицу Авиаконструктора Яковлева, улицу Самеда Вургуна — и вновь словно бы раньше тебя как не бывало:

— Хотел обновлений органов чувств, незапылённых и свежих впечатлений «как в ранней юности», хотел отсутствия обременения жизненным опытом и впадением в колею?

— Получай, антифашист, гранату.

Ночью не сплю, думая, как жить дальше, с носом, заложенным от кондиционера, и понимаю, что снова не знаю, как дальше жить.

Впрочем, я люблю свои немые промежутки, хотя они совсем не похожи на старые французские стильные фильмы, особенно когда не на публике и когда не стеклянный…

Если в тени.

Мой критерий успеха простой, но особый — он в незаметности: на улице теперь совсем не та погода, чтобы быть хоть скольнибудь заметным: заметный теперь выглядит чуть ли не как замётанный…

…дожили.

*02 сентября*

Незнание образует карманы времени. Это мы сами с собой находимся каждую минуту, а вот все другие постоянно исчезают для нас как за шторкой….

Люди, которых мы наблюдаем лишь иногда, исчезают в этих карманах, рекреациях, которые могут открыться, стоит только за угол завернуть — словно бы мы знаем, чем они, эти люди, от нас регулярно сокрытые, занимаются, окруженные вспышками стоп-кадров; как стареют вместе с нами и параллельно: пропускают время сквозь себя — время, подобное радиации, накрывающей всех одновременно, но каждого в особенности.

Хотя нет, в карманах этих время не идёт, но даже не колышется, точно вода, и касается это не только людей, которых мы встречаем, выныривая из собственных рекреаций, из-под личного льда, но и всех прочих явлений — от погодных сезонов до общественно-политической ситуации.

Всё, что живёт и развивается, постоянно затекает в зоны невидимости: скотомизируются до следующего момента, когда мы решим обратить на них внимание, а что там у них внутри происходит?

Как они без света наших глаз и без музыки наших запахов существуют?

Мы ведь вполне уверены, что в любую секунду (возьми да замерь) знаем, как идут все эти неподнадзорные процессы, тянущиеся в темноте осенней ночи электрическими проводами или же последними сонатами Шуберта (в особенности самой последней — любимой моей 960, кто хиппует — тот поймёт)…

…с Шубертом совсем интересно: чего бы нам всем его не слушать долгими осенними вечерами?

Так вот Шуберт, как до этого Шопен, а ещё до этого Шуман, слишком красивые, слишком мелодичные для 2022 года, сливающиеся в один уютно-тревожный поток, в куски виноградного мяса на радио «Орфей».

Там, у Шуберта, есть масса таких музыкальных рисунков неземной легкости и красоты, которые хотелось бы услышать во время исполнения ещё раз, и ещё, и ещё, а они не повторяются, так как приходит очередь других рисунков на воде и в птичьем гаме, которые способны понравиться и увлечь не меньше предыдущих, но Шуберт словно бы торопится успеть поделиться другими своими придумками (ему жить-то осталось всего пару месяцев и, заболевая брюшным тифом, думал ли он, что это конец?), из-за чего сыпал заготовками (или это импровизы сплошь?) с превышением моего интонационного восприятия, почти всегда немного запаздывающего за развитием тем…

А потом, когда Брендель отыграл, настала пора Рихтера, но это был уже сентябрь.

То есть осень. Вновь ремонт в подъезде. Смена красок этих трогательней, Постум, чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела. Дальше локтя не пойдёшь или колена.

Сколько ж радостней прекрасное вне тела…

Как передать это ощущение от людей, спрятанных у времени в карманах?

Словно бы завалявшихся за подкладкой с прорехами. Между катышков и крошек.

Словно бы они имеют такие запасы [времени], которых нет у меня, так как ведь, сам смотри, я всё время чем-то занят, всё ещё вот кашляю сильно, постоянно что-то делаю, регулярно забывая о том, что время утекает сквозь пальцы и прямо в песок…

Сочится, как выносной блок кондиционера, капая рядом с асфальтом и соседями, уходящими по тропинке за угол, вместе с собаками, которых они выгуливают, за деревья, за аэропортовские облака…

Ибо там, в этих карманах, они словно бы спят всегда, словно бы копят нерастраченные силы, секунды, похожие на танец пылинок, танцующих на солнце; минуты, напоминающие листья, падающие с осенних теперь уже деревьев; часы, заполненные ситкомами с уютными, но несмешными шутками и смехом, записанным на подкорке.

Мой-то август ого-го, я и потел, и болел, потронял и температурил, вместе со всей страной, а их-то август вообще ничего — с морем, пляжем, причалом и харчевней «Три пескаря», с музеями и выставочными залами, с бархатными ароматами и охлаждёнными виллами винами: кто не любит комфорт — тот привык задумываться над тем, что будет завтра…

Рихтер играет последние сонаты Шуберта так, как будто умер и подглядывает, или, точнее, как если ещё не умер, но подглядывает, хотя из тех, кого я слушал сегодня, — он единственно мёртв (Рита добавила бы: «вот как Бубликов»), тогда как Поллини ещё жив (ему сейчас 80), впрочем, как и Брендель (ему 91).

Все вопросы, которые Шуберт задает здесь судьбе, остаются без ответа: такова «цена» отсутствия повторов и симметрии, принесённой «в жертву» непрерывности развития, а это совершенно отдельная ценность.

Когда слушаешь Шуберта (как Шумана когда-то) или экспериментируешь с Шопеном, который уже никогда не станет родным, но в которого можно путешествовать набегами, как в туристическую поездку (если виза достанется), кажется, что все не взаправду

и не всерьёз — есть в его подаче легкая, невыветриваемая ирония и нелёгкая игрушечность, перестраивающая ощущение времени под звучание отдельных фигур, отныне измеряемых ими, а не секундами и минутами.

Сонаты Шуберта подминают под себя привычный хронотоп и этим лечат, раз уж идёшь чужой тропинкой, а не своей, сидишь за шторкой и словно бы спишь. С открытыми глазами.

Это весьма летнее ощущение, зависимое от непропорциональной длительности дня с вытянутыми коленками и длительности ночи, когда московские облака словно бы образуют дополнительные пространственные пазухи для запасов совсем уже ничейных территорий.

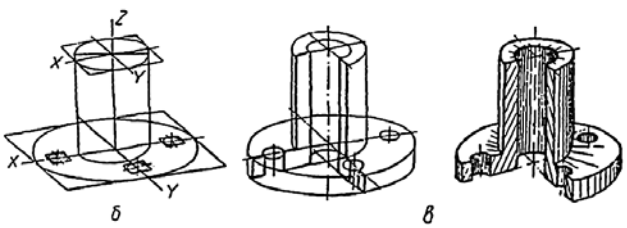
Из последних сонат Шуберта легко сделать надмирность, а вы попробуйте погрузить их в толщу яблоневого сада с утренней росой и падалицей на удачу, ну, если вы солирующий пианист, конечно, говорю я Рихтеру уже в третьем часу ночи, и кажется, что он меня слышит.

Потому что Рихтера нельзя слушать фоном, так уж он устроен, что внятной дикцией своей забирает всё внимание на себя, и важно расслышать каждую ноту, раз уж из неё вытекает следующая и так дальше по списку.

После Шуберта Ютьюб подсовывает сонаты Моцарта и тоже в исполнении Рихтера — тот случай, когда не хочется спорить с раздачей и откладываешь книгу: пусть в выкладке будет одна только музыка. Пожалуйста.

**Дарья Хомутова**

# *Знает ли мир,что я за ним наблюдаю?*




* * *

Солнечный диск спрятался за дерево,
освещенный им
тополиный пух
играет в салочки,
белый, сияет
на фоне темно-зелёной кроны.
Лето.

Девочка выдувает
мыльные пузыри,
старается.
Они должны быть
такими же яркими,
но тополиный пух
выигрывает
сегодня.

Темно-зелёные кроны,
подсвеченные солнцем,
останутся на сетчатке
на пять, на десять минут,
еле заметные…
Воспоминание —
останется навсегда,
вырезанное в камне слова,
в мягкой, податливой коже блокнота.

Этот солнечный день,
двое детей:
спящий и катящийся на самокате.
Она задаёт много вопросов,
ей часто «жалко».
Она жалеет, что не может
насладиться одновременно
всем предлагаемым величием мира,
выраженным в игрушках,
аттракционах,
во внимании мамы.
Ей важно, чтобы я смотрела.

Интересно, важно ли это
всему остальному миру?
Интересно, знает ли мир,
что я за ним наблюдаю?

* * *

Я потерялась в парке,
сижу в зелёной аллее
в зелёном же платье,
гадаю —
найдут или нет.
Ну, конечно же, нет!

Я сливаюсь с природой.
Зелёное, чёрное —
это цвета:
деревьев, стволов, земли,
коляски, портфеля, платья.
Цвета
перемешались друг с другом,
перемежая друг друга.

Я — проигрываю
прохладной темноте зелёного мира,
мне жарко и неспокойно,
как перед грозой.
После грозы —
землю накроет озон,
потоки воздуха успокоят свой ход,
тишина на время восторжествует.
Никто больше не гремит, не лютует.

Это зелёный мир:
после грозы, перед грозой.
Это мои глаза,
спрятанные
за стеклами
темных очков,
чтобы ты не видел
боль или страх,
чтобы отчаяние
не пролилось через край,
чтобы разочарование
и тебя не отравило,
мой милый.

Мой хороший, мой последний.

Иду по древнему следу
в своей заблудшей душе,
и мне нечего рассказать вам,
нечего поведать:
это боль и страх небытия.

Я стою на границе
между чёрным и белым.
Я стою на границе:
и эта граница — Я.

Не хочу
заставлять тебя
чувствовать боль,
но — заставляю
(и — наверно — хочу).
Волны
нестройные
преломляют
мои чувства,
выворачивая
наизнанку
любовь.

Я знаю, это пройдёт.
Но сегодня: я застряла,
я потерялась в зелёном парке,
в прозрачном и душном сквере.
В грязном
символическом
пространстве,
где нет моего Другого.

Моего милого,
моего последнего.

* * *

Наши разговоры
практически полностью
состоят
из манипуляций.
Мы не разговариваем:
так,
перебрасываем друг другу
этот мячик обид.
Съедобное — несъедобное.

Я чувствую
только разочарование:
всё несъедобное!
Невкусное!
Манная каша с комочками.

Всё такое несладкое,
несоленое.
Я плачу,
чтобы сдобрить
эту еду.
Это ненастоящее
горе.
Не стоящие внимания
чувства.
Разочарование.

Мы постепенно
учимся
сортировать эти чувства:
съедобное — несъедобное.
Что-то совсем ядовитое.
Что-то пресное и полезное,
как овсяная каша.
Без масла.
Без соли.
Что-то прогоркло,
залежалось на дне,
как этот беспредметный гнев,
как эта беспредметная печаль,
как эта
эндогенная тревога,
отчаяние
поднимается
и пытается отравить своим ядом
каждое живое чувство.

Я мою, я протираю,
но разочарование приходит
изнутри,
сочится сквозь поры,
и всё снова становится грязным, затхлым.
И любовь, и нежность, и печаль.
Я снова плачу.
Слезами я омою себя.
На мгновение придёт чувство, как после
дождя
и после грозы.
Свежее, свежее чувство внутри.

С некоторых пор
разочарование —
мой союзник.
Я прощаюсь с тем,
чего не могу изменить.
Смиряюсь с тем,
что не могу осмыслить.
Принимаю то,
что никогда не смогу
полюбить.

Я разочарована
в форме,
в слове,
в как будто бы данном мне даре.
Все яркие камушки
моей неоднозначной личности
истерлись до серой гальки.
Теперь можно
запустить её
по серой же речке,
зеркалящей серое бледное небо
Реальности.
Шлеп-шлеп-шлеп.
Трех прыжков будет достаточно,
чтобы считать —
забава удалась.

Ты одобрительно киваешь,
и тоже подбираешь
подходящий камушек.
Уже не видно,
сделал ли ты заветную «лягушку».
Вода покрылась рябью,
дождь льёт.
Вода бурлит,
как дурная,
словно в чане кипящем,
но она очень холодная,
сегодня,
она уже очень холодная,
злая, ужалит,
если опустишь руку.

Чем холоднее вокруг,
тем более звонкие капли,
звучат,
ударившись о воду,
как о блестящие пластинки ксилофона,
если только замедлить время.
Но мы слышим только шум,
не различая.

Шум на реке.
Серая пелена между небом и землей.
Еле заметные чувства
между тобой и мной.
Неразличимо.

***

Сегодня
дело не в том,
как я себя чувствую,
а в том, что я вижу.
Вот
смеющееся лицо ребенка,
она говорит:
смотри, как я танцую.

Деревья
обрамляют
детскую площадку,
как лес —
обрамляет город,
как космос —
окружает нашу планету,
лелеет в своей утробе,
гладит,
греет солнечным светом.

Меня наполняет светом
её улыбка,
слёзы,
её смешные капризы,
угрозы.
Солнечный свет
пробивается на площадку
сквозь
мягкие кроны.
Я выбираю место в тени.
Дети —
любят солнечные места.

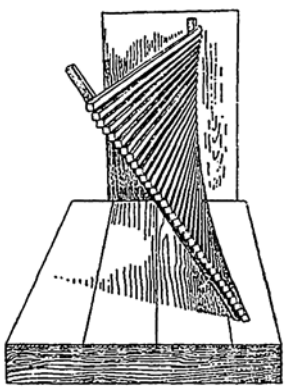
Август.
Несколько дней до осени.

Листья падают
мне под ноги,
как падают в моей голове
строки, рифмы,
отцветают, отживают,
покрывая
жирным питательным слоем
полые сферы сознания.
Я наблюдаю их
безучастно,
я сбилась со счету:
строчка,
хорошая первая строчка,
какая красивая мысль…
не успела…
Яблоко-падалица:
если сразу не поднять,
его уже никто не станет есть.

Утреннее сознание —
чистое.
Я предвкушаю эту чистоту в природе.
Я буду наблюдать:
сентябрь, октябрь, ноябрь.
Как постепенно
многообразие цвета
перейдёт
в чёрно-белое безмолвие,
пустынный ледяной ветер.

Дети будут кутаться
в яркие комбинезоны
и бегать по белому городу,
как экзотические цветы,
запах которых
раскрывается только
матерям,
вечером,
когда снимаются все
цветные слои,
и маленький человек,
засыпая,
говорит горячо и пламенно
(они — настоящие экзотические цветы):
мама, я очень люблю тебя.

# *Два Вердеревских*



*В середине XIX века в Перми жили два литератора, известные далеко за пределами губернского города. Откроем интересную, ныне почти забытую страницу истории Перми и литературной жизни Прикамья.*

*Вердеревский Василий Евграфович (1800–1872) — выходец из старинного дворянского рода. Окончил Московский университетский благородный пансион, преподавал в нём до конца 1819 года.*
*Посещал «пятницы» А. Ф. Воейкова и «четверги» Н. И. Греча. В 1820-е годы был признанным поэтом. Стихи и переводы печатали журналы «Полярная звезда» и «Северные цветы». Современники знали его как переводчика Горация и Оссиана. Наибольший успех принес ему перевод поэмы Байрона «Паризина». Критики отмечали совершенство его стиха. Литературным творчеством занимался активно до середины 1830-х, дебютировав в 1816-м в альманахе «Каллиопа». Печатал стихи и переводы во многих литературных журналах и альманахах.*
*В 1820–1824 гг. служил в лейб-гвардии, затем в Семеновском и Бородинском полку (1820), чиновником в канцелярии по принятию прошений в Департаменте уделов, чиновником для особых поручений при дежурном генерале Главного штаба, председателем комитета по составлению свода административных законов в Польше, в 1840 г. определен сверх штата в III отделение.*
*За 1827–1840 сменил много мест службы, пока, наконец, не получил должности правителя канцелярии Военного министерства, на которой быстро разбогател. После появления слухов о его взяточничестве был переведен в 1844 году в Сибирь председателем Томской казенной палаты, а в 1847-м на эту же должность в Пермь.*
*Его дом на Монастырской улице, архитектурный памятник XIX в., до сих пор именуется в Перми «Дом Вердеревского».*

*Василий Евграфович уехал из Перми в1853 году. Через 14 лет в Нижнем Новгороде были вскрыты огромные недостачи казённой соли, тайно продававшейся по указанию Вердеревского. За это он был в 1869-м, после долгого следствия, решением Сената лишён всех прав состояния и сослан в Сибирь, но вскоре, благодаря сильным связям, получил разрешение поселиться в имении дочери. Умер Василий Евграфович 20 июня 1872 года.*

*Евгений (Евграф) Алексеевич Вердеревский (1825–1867) — известный русский писатель, племянник Василия Евграфовича. Некоторое время он жил в Перми в доме дяди на Монастырской улице, служил чиновником особых поручений при губернаторе, затем уехал на Кавказ.*
*Ему принадлежат сборники стихотворений: «Октавы» (1847), «Стихотворения первой молодости» (1857), «Зурна, закавказский альманах» (Тифлис, 1857), а также книга «От Зауралья до Закавказья» (Москва, 1857). Юмористические, сентиментальные и практические письма с дороги, интересные воспоминания о Перми.*
*Наибольшую известность Евгению Вердеревскому принесла книга «Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля семейств кн. Орбельяни и кн. Чавчавадзе» (1856 и 1857). Эта повесть издается и в наши дни.*
*В номере журнала мы публикуем в сокращении поэму Евграфа Вердеревского «Неудачный маскарад» — вещь в духе Пушкинского «Графа Нулина», интересный образец так называемой «шуточной легкой поэзии» XIX века, и современный рассказ, основанный на реальных событиях жизни семейства Вердеревских в Перми.*

*Борис Эренбург*

## Евгений Вердеревский

# НЕУДАЧНЫЙ МАСКАРАД

## Быль

I

Ничто не ново под луною,
Что было — есть и будет век:
И прежде хитрою женою
Бывал обманут человек,
И прежде яблоко обмана
Беспечно кушали мужья;
И прежде, — но возьмем Адама:
Мы все — Адама сыновья!..
Семь тысяч лет плутует Ева,
И с заповеданнаго древа
Семь тысяч лет украдкой рвет
Известный всем запретный плод!..

II

О, содрогайся добродетель!
Пою, как в век наш продувной
Был одурачен благодетель
Своим питомцем и женой;
Пою не анекдот столичный —
В столицах это зауряд!
Известно: там народ двуличный,
Вся жизнь там — вечный маскарад!..
Пою, как в мире скирд и пашен,
Как в мире сельской простоты,
Пал жертвою любовных шашен
Муж, чуждый всякой слепоты!..

III

Жене молоденькой не диво
Морочить мужа-старика
(И, право, даже справедливо
Подчас дурачить дурака!),
Но муж, которого героем
Поэмы нашей мы возьмем, —
Был не таков. Ни геморроем,
Ни слишком сдавленным умом,
Ни сединой, ни глухотою
Он вовсе не был одержим:
Умом и жизни полнотою
Не всякий состязался б с ним!

IV

В своем именьи подгородном
Владел он пятьюстами душ,
Кичился станом благородным,

Бы добрый барин, добрый муж,
Столом и знатною роднею
Гремел среди окрестных стран,
И даже совестным судьею
Служил по выбору дворян.
Благотворил он, не жалея,
В жене — свой видел идеал,
И счастью своему злодея
Ни в ком не чаял, не гадал.

V

С ним пятый год жила любовно
Жена — краса окольных мест.
Была когда-то Софья Львовна
Из самых миленьких невест.
Умела взбить свой локон русый,
Пропеть Варламова романс,
Вести французские турусы
И с шиком танцевала вальс.
Годами двадцатью моложе
Была супруга своего,
Но рассуждала так:— Ну что же?
Я другом буду для него!..

<...>

IX

В дому счастливого супруга,
Судьи (героя этих строф),
Был принят чем-то вроде друга
Питомец — Петя Васильков.
Он рос без племени и рода
На горьком хлебе сироты;
Зато дала ему природа
Наружность редкой красоты,
Покорный нрав, простую душу
И пламень юношеских сил;
И всякий, кто лишь знал Петрушу,
В нем свойства добрые любил.

X

Во время нашего рассказа
Считал Петруша двадцать лет,
Имел два огненные глаза,
Был прям и статен, как атлет;
Судьи хозяйственным заботам
Неутомимо помогал;
А Софье Львовне был Bac-totum:
С ней ездил, книги ей читал,
Кормил, ласкал ее болонок
И часто с кучами картонок
Скакал верхом, как паладин,
В губернский модный магазин.

XI

И, деревенским кавалером
Madame Sophie развлечена,
Звала его: ami, и Pierre'омъ,
И не скучала с ним она,
Напротив: ей пришла идея
К себе медведя приручить,
Образовать в нем чичисбея
И волокитству научить.
«Бывало, устремит лукаво
На Пьера томный взгляд она,
А он весь вспыхнет, точно лава,
Краснее алого сукна.

<...>

Но Софье Львовне не противно
Подчас бывало посмотреть,
Как перед ней краснел наивно
Ея обузданный медведь...
Она не редко развлекала
Себя опасной с ним игрой:
То по щеке его трепала
Своею крошечной рукой,
То на колена становила,
То вдруг коварно говорила:
«Петруша, вам который год?..
Вы — или мальчик, или лед!..»

XIV

Где кошке — смех, там мышке — муки...
Петруша это испытал...
Пока им тешились от скуки,
Пока он робко трепетал,
Пока послушно поддавался
Затеям хитрой красоты,
В нем невидимкой разгорался
Огонь томительной мечты...
Худел, не спал и не обедал,

Гадал: зачем горит в нем кровь?
И не отгадывал: любовь.
Что было с ним, он сам не ведал…

<…>

XVI

Однажды… это было летом,
Послеобеденной порой…
Расставшись с тягостным корсетом,
В кисейной блузочке одной,
Она лежала на кушетке,
Куря душистый пахитос;
Тонуло личико кокетки
В волнах распущенных волос;
Разулась шелковая ножка,
Ища прохлады ветерка,
А ветерок, струясь в окошко,
Ласкал красавицу слегка…

XVII

В саду, в тени густой сирени
Перекликались соловьи:
Madame Sophie, предавшись лени,
Казалось, жаждала любви.
Пред ней вздыхатель наш уездный,
Горя от зноя и тоски,
Глядел в альбом златообрезный
И с чувством вслух читал стихи:
Едва-ли кто-нибудь их слушал…
Но вот вопрос: где ж был судья?
Судья наш только что откушал
И спал, как спят одни мужья.

XVIII

Madame Sophie, наскучив чтеньем,
К Петруше обратила взор,
Взор, полный нежным выраженьем,
И завязала разговор:
— Как раскраснелся ты! — От зноя.

XIX

— Нет, ты устал! — О, нет-с я вдвое
Еще готов для вас читать. —
— Не лучше ль, друг мой, перестать?
Садись сюда, вот так, поближе…
Какой ты робкий! Ну, скажи же,
Зачем ты вечно, как медведь,
Боишься на меня глядеть?

<…>

XXI

Послушай, если ты мужчина,
А не дитя, то, сбросив страх,
Когда второго половина
Пробьет на башенных часах,
Приди ко мне… к алькову прямо…
Смотри же, не забудь… я жду.
Да не молчи же так упрямо,
Скажи, придешь ли?.. — Да-с, приду!..
Тут Софья Львовна тихо встала,
Петрушу в лоб поцеловала,
Подумала: «Est-il naif!..»
И в сад пошла, в аллею ив…

XXII

Здесь я, рассказчик, сильно трушу,
И, как Петруша, я скорблю,
Что как-нибудь мораль нарушу
И гордость женщин оскорблю!..
Боюсь, что дамский круг освищет
Мои правдивые стихи,
И гордо скажет: «Пусть он сыщет
Меж нами — эдаких Sophie!..»
Боюсь суда и приговора,
Но, как безногому — костыль,
Так мне пусть будет в том опора,
Что я рассказываю быль…

<…>

XXVI

Сады, леса, луга и пашни
Черны… Стемнел и неба свод,
И на часах церковной башни
Неспящий молот полночь бьет.
Петруша мой нетерпеливый
Давно в саду, между ветвей,
И рядом с ним, как он — счастливый —
Поет над розой соловей…

Луна на небо не всходила,
Она Петруше не нужна:
Его звезда, его светило —
Огонь знакомого окна!..

XXVII

Бьет час; в окне свечи не стало:
Условный знак!.. Теперь пора...
О, как в нем все затрепетало!..
Идет он тихо вдоль двора;
Вот он в сенях; вот в коридоре;
Вот дверь налево: это к ней!
Надежды трепет, страх и горе
Заговорили в нем сильней:
— Что, если кто-нибудь заметит?
Что, если муж меня здесь встретит?
Что, если в спальне также он?..—
Беда и страх со всех сторон!..

XXVIII

Шатнулась дверь, за дверью — мрачный
Покой. Безмолвно все вокруг,
Лишь только на постели брачной
Храпит отчаянно супруг.
— Он здесь! Дрожат мои колени! —
Петруша мыслит: — Я умру! —
Вдруг видит он, как, легче тени,
Sophie скользнула по ковру:
— Ты здесь?.. Сюда, за этот полог,
Не бойся: он широк и долог,
Ты им прикрыться можешь весь, —
Вот так!..Теперь постой же здесь!..—

XXIX

Сказавши — прыг под одеяло,
Легла и стала хохотать!
Потом супруга растолкала:
Мой друг, проснись, как можно спать!..
Проснись, послушай, вот умора!
И муж, спросонья, как дурак,
Кричит: — Уж нет ли в доме вора? —
И прячет голову в колпак.
— Какие воры! Ах, потеха!
Проснись же, я умру от смеха!

<...>

XXX

Представьте мужа изумленье!
Она хохочет, смотрит он:
— Да что с тобой за приключенье?
Какой тебе приснился сон?
— Не сон, а правда; я хотела
Еще вчера вам рассказать
Проказы вашего пострела!
Ведь он... — И снова хохотать...
— Представьте: он-то, ваш Петруша,
Ваш нареченный-то сынок,
Влюбился, всякий стыд наруша!..
— В кого? — В меня!.. — Ах, он щенок!

XXXI

Да я ему обрежу уши!
Недаром бил он здесь баклуши!
Каков! Давно бы мне пора
Прогнать повесу со двора!..
Все это наш Петруша слышит,
Стоит в углу и еле дышит;
От ужаса холодный пот
С его лица ручьями льет.
А Софья Львовна продолжает:
— Мне мысль чудесная пришла:
Меня Петруша ожидает
В саду, у старого дупла,

XXXII

Там, знаешь, где оранжереи,
Где есть дерновая скамья...
— Как? Он простер свои затеи?..
— Ну да, но так хотела я;
Я возбудила в нем признанье,
Он говорил мне о любви,
И мы условили свиданье
Сегодня, ночью, у скамьи...
— Но для чего? Зачем все это?
— А вот затем: чтоб в ваши лета
Дурачить вас никто не мог;
Затем, чтоб не носить вам рог. —

XXXIII

— Но как? — Mon cher, и пустяков-то,
Не можешь разом ты смекнуть!

Вот мой чепец, а вот и кофта:
Надень все это как-нибудь;
Накинь на плечи кацавейку
И на дерновую скамейку
Ступай, усядься и сиди,
Да не засни, а подожди;
Ну, понял?.. — А, теперь понятно!
Чепец и кофту! Вот приятно!
Mais c'est charmant! Бегу, лечу,
Повесу славно проучу.

<...>

XXXV

Madame Sophie — опять хохочет,
Но не одна: Петруша с ней:
Она его утешить хочет,
Толкует цель своих затей.
На небо выплыла луна,
На сельской башне два пробило,
Sophie о муже не забыла:
Очнулась первая она

XXXVI

И шепчет тихо чародейка:
— Теперь скорее в сад ступай,
Туда, ты знаешь, где скамейка,
И к мужу смело приступай;
Не узнавай его нарочно,
И говори: О, стыд и срам!
О, как на свете все порочно!
Сударыня, не стыдно ль вам?
А наш добрейший благодетель
Так верит в вашу добродетель!
Я испытать хотел лишь вас...
А вы? Вы поддались тотчас!

XXXVII

Потом на легкость дам посетуй,
Потом домой идти советуй,
Все это нужно для того,
Чтоб успокоить нам его!..
Летит Петруша окрыленный,
Он стал и сметлив, и хитер,
И монолог свой затверженный
Прочел, как опытный актер.

Какие ж были результаты?
Судья пришел в свои палаты,
Разделся и сказал жене:
— Ma chère, скажи спасибо мне! —

XXXVIII

— А что? — Да то, что я избавил
Тебя от страшного стыда:
Тебя бы юноша заставил
Прослушать проповедь!.. Да, да!
А я ему преблагодарен,
Он малый честный и прямой!..
И с этой мыслью добрый барин
Нырнул в подушки головой...
Madame Sophie лежит смиренно
И мыслит: выдумка хитра!..
Потом заснула, и степенно
Супруги спали до утра!..

XXXIX

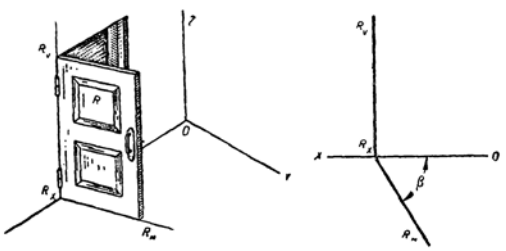
С тех пор упятерил доверье
К Петруше добрый семьянин;
В его дому (гласит поверье).
Он не питомец стал, а сын.
Имея опыт многолетний,
Судья обманут редко был;
Когда ж его касались сплетни
О милом сыне, он твердил:
— Нет, это вздор, он — мальчик честный,
Его поступки мне известны,
К нему один я справедлив:
Он благодарен и правдив!

XL

Но как же стала Софья Львовна
С тех пор с Петрушей поживать?
Была ль по-прежнему любовна?
Любила ль вместе с ним читать?
Смеялась ли, когда краснел он?
Не отучила ли краснеть?
Иль, может быть, ей надоел он,
И нужен новый ей медведь?..
Молва различно толковала,
А мы слыхали от людей,
Что ей с тех пор судьба послала
Троих премиленьких детей.

**Борис Эренбург**

# *Дом Вердеревского*



*Мой дядя самых честных правил…*
А.С.П.

Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал? Вот гикнул ямщик, рванулись кони, понеслись колёса, закрутили воздух, подняли грунт, и уже видна на тебе, тройка, печать родных российских дорог. Ямщик не в немецких ботфортах: сапоги да рукавицы, а сидит, как столетняя бутылка из боярского погреба, весь в серой благородной пыли. Но это рисунок нашего Московского тракта, а дальше, за Нижним, на глинистых почвах, тот же ямщик после удалой песни, да щелканья кнутом, да гона лихих коней, в облаке багровой пыли похож пурпурным лицом на индейца, угнавшего фургон переселенцев Дикого Запада. И бегут навстречу верстовые столбы, летит позади красный шлейф, как модное платье, но вот уже утомившиеся лошади, споткнувшись в дорожной яме, идут шагом, опустив утомленные головы, и тянут бричку не спеша к уходящему мелким шажком горизонту. Подскакивают на колдобинах колеса, и тянется время вдоль паутины дорог, что расползлись, как раки, в стране, растянувшейся на полсвета. Так и хочется взять полотно да протереть картину, вернуть лошадям и мужику родной цвет и облик, но нет, как обычно, мокрой тряпки под руками.

Впрочем, с тех пор, как запустили Московско-Петербургскую железную дорогу, путь из Петербурга до Перми занимает всего десять дней. Вряд ли назовёшь заповедной глушью город, в котором новинки из столицы появляются в срок менее двух недель. Но в бричке, о которой идёт речь, едут не новые журналы мод, не свежие литературные альманахи, а важное лицо с подорожной из Петербурга. И пока эта бричка с государственным человеком на борту трясётся на ухабах от Москвы до Урала, я успею рассказать вам историю моего знаменитого дядюшки.

*Пермь, 1853 г.*

Мой дядя, Василий Вердеревский, был лицом достопримечательным во многих отношениях. Как выпускник Благородного университетского пансиона, он обладал немалыми связями и дослужился до известных чинов в столице. При этом дядюшка был известным поэтом Пушкинской эпохи, автором собственных поэм и переводов Оссиана и Байрона. Он встречался с большинством светил нашей словесности, блистал анекдотами на литературных средах Воейкова и четвергах Греча. Правда, водились за ним финансовые грешки, благодаря которым служба в столицах не задалась, и дядя попал в Пермь, куда был назначен председателем казенной палаты. Должность для уездного города немалая: второе лицо после губернатора.

Душа романтического поэта загадочным образом сожительствовала в нем со служебным призванием, и этот союз породил особый феномен, который и привел к удивительному окончанию нашу пермскую жизнь. Мои литературные опыты нравились знаменитому родственнику. Василий Евграфович пригласил меня в Пермь и устроил чиновником по особым поручениям при губернаторе.

Дядюшка обожал прозу Николая Васильевича Гоголя и не раз на веселых вечерах в «Славянском базаре» говорил нам с улыбкой, что живет, следуя заветам гения. Так, показывая мне впервые свой дом на Монастырской улице, он процитировал отрывок из нашумевшей поэмы «Мертвые души»:

«Скоро образовалась комиссия для построения какого-то капитального строения. Шесть лет возилась комиссия около здания; только никак не шел казенный дом выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше».

Нарядный двухэтажный особняк дядюшки на углу Сибирской и Монастырской улиц выстроен в классическом стиле по проекту известного архитектора Мейснера. Дом из лиственницы так красиво оштукатурен, что до сих пор кажется пермякам каменным. В одном из корпусов дядя устроил лучший в Перми ресторан с арфистками «Славянский базар», на втором этаже были номера, а в другой части дома под крышами с резными перилами жили хозяева.

В ресторане предлагали блюда французской и русской кухни: из русских можно было вкусить пожарских котлет, поросенка, зажаренного в водке, щи с кашей, телячьи отбивные, осетрину. Подавали и «настоящий французский суп», привезенный из Парижа в виде жестяного консерва, модного изобретения нашего прогрессивного столетия. Каждую неделю устраивались вечера, поэтические вторники, где дядюшка блистал в обществе актрис Пермского театра и местной золотой молодежи. Истории его, правда, были несколько старомодны, отдавали куртуазией двадцатых годов, но пермские девы жадно слушали анекдоты про Ивана Андреевича Крылова, рассказы о встречах с Пушкиным, эпиграммы самого Василия Евграфовича. Образ его воплощал для жительниц Перми свет далеких столиц, пиры гусар и поэтов, балы во дворцах Петербурга. Я положил несколько стихов дядюшки на музыку и с успехом исполнял для девиц под гитару:

*И пусть проходит жизнь моя;*
*Счастливец в здешнем мире,*
*До гроба буду верен я*
*Друзьям, вину и лире.*

*Я знаю, старость не дружна*
*С любовью легкокрылой;*
*Но страстным пламенем полна*
*Душа моя близ милой.*

В кругу чиновников и купцов Василий Евграфович вспоминал о службе в Петербурге и, так сказать, проводил психологические опыты. В его рассказах по улицам летели сотни курьеров, трепетали департаменты, и к решениям дядюшки прислушивались в Зимнем дворце. Председатель палаты с удовольствием наблюдал, как менялись лица собеседников, вытягивались по струнке усы, тянулись руки по швам, округлялись очи,

будто являлись перед ними призраки грозных генералов и фаворитов его величества.

— Ах, Николай Васильевич, молодец, — наслаждался дядюшка, листая при мне «Ревизора», — как автор хорош, как пишет ажурно! Будто с меня, с жизни моей легким пером выводит. А ведь знакомы не были!

И действительно так, хоть в одну пьесу глянь, хоть в другую: даже колода карт у Председателя пермской палаты была особая именная, как в «Игроках» у покойного гения, и носила имя «Аграфена Николаевна». На вечерах в ходу были шутки и розыгрыши. Однажды дядя предложил гостям игру: придумать лучшую небылицу о своих предках. Канатный фабрикант и бывший городской голова Смышляев, обычно державший себя в строгости, но раззадоренный отличнейшими винами, поразил нас историей времен построения Петербурга. Тогда якобы его прадед принимал хлебом-солью в Соликамске самого Робинзона Крузо. В качестве приза он унес самовар.

Именно гоголевская струна уездной жизни довела нас до неожиданной развязки и заставила в конце концов покинуть прекрасный дом и такой простой, но приятный город.

*Петербург, июль 1853 г.*

Между тем в столице уже собирались тучи. В одном из отделов Государственного контроля в Петербурге титулярный советник Харлампий Мокиевич Опискин, переписывая казенную бумагу, обратил внимание на необычный факт. Изумившись цифрам, он покрутил и перевернул листок, посмотрел на свет и убедившись, что результат не изменился, доложил о своём наблюдении столоначальнику Никифору Ивановичу. Надворный советник, почесав затылок и многозначительно протянув «Э-э-э…», направился с бумагой к генерал-контролёру. Тайный советник Иван Петрович с полуслова проник в суть необъяснимого и грозно воскликнул «Э!». Затем он заглянул в зеркало, поправил бархатный мундир и явился с докладом к самому Государственному контролеру, действительному статскому советнику Василию Николаевичу Хитрово.

Надобно вам сказать, что Государственный контроль был создан для искоренения всякого мздоимства и финансовых неполадок в губерниях. Цари не слишком доверяли своим служителям. Ещё покойный царь Александр Павлович говаривал: «Они украли бы все зубы из моего рта, если бы могли сделать это, не разбудив меня во время сна, и украли бы все мои линейные корабли, если бы нашли место, куда их спрятать».

Чиновники департамента имели полное право расследовать все подозрительные дела на местах, где казенные суммы от сбора налогов растворялись в воздухе подобно невским туманам и джиннам из арабских сказок.

Государственный контролёр вчитался в текст документа, глянул на карту империи и воскликнул: «Откуда взялись эти пермские бессмертные души?! Воздух что ли в Перми такой живительный или воды целебные?» Факт обозначился в том, что по данным из Казённой палаты за последние шесть лет в Пермской губернии не умер ни один чиновник, ни деятельный, ни пенсионный. Факт порождал подозрения и нарушал установленный Государем и Богом порядок. Последовали решения.

Все столоначальники, исключая по малости чина титулярного советника Харлампия Опискина, получили награды за бдительность, а дело велено было расследовать немедля, чтобы представить докладную записку Государственному совету.

*Пермь, 1853, сентябрь.*

Однако, вернемся в столицу губернии, в тот памятный день, когда гений покойного Николая Васильевича явился на сцене в Перми.

С тех пор, как добросовестная труппа г. Соколова заняла подмостки Пермского театра, знаменитая комедия Гоголя была разыграна только два раза. На представлении 9 сентября я находился в ложе с главой губернии и наблюдал за зрителями. Тут собрались все сливки Пермского общества: и дородные купцы, оставившие у театра по-

золоченные экипажи с раскормленными лошадьми, и высокодуховные дамы преклонных лет, приехавшие составить мнение, и чиновники, поспешившие на представление пьесы, одобренной императором.

«Всем досталось, а мне — больше всех!» — так, передавали, одобрительно сказал государь Николай Павлович на премьере сатиры в столице.

Дядюшка находился в первом ряду партера, раскланивался с многочисленными знакомцами и посылал воздушные поцелуи молоденьким актрисам. Комедия ничуть не обидела провинциальную публику. И это понятно: кто же из нас примет что-нибудь на свой счет из остроумной сатиры? Посмотрите, как все мы добродушно смеёмся; неужели же этот смех не объясняет, что мы и не думали видеть в комедии самих себя? Смеясь, мы киваем на соседа, — и все довольны!..

Г-н Соколов в роли Городничего был необычайно убедителен, превзойдя даже столичных мастеров сцены, актеров Щепкина и Сосницкого. Мешало ему, разве что, нетвердое знание текста, поэтому громогласный шёпот суфлера порой подгонял ход событий. Особенно эффектен был Городничий в финальном акте, застыв с выпученными глазами после сообщения о приезде ревизора. Публика аплодировала немой сцене, но както неуверенно; многим показалось, что актёр опять забыл текст.

В этот момент в нашей ложе раздался звон ударившейся о кресло сабли, и за спиной губернатора появился жандарм. Служивый смущенно поправил портупею, но выправился, отряхнулся и твёрдым голосом пригласил губернатора в канцелярию на свидание с генерал-контролером. Бричка доехала до Перми.

Последнее, что я видел, — как второй жандарм прошёл по проходу через весь зрительный зал и что-то сообщил удивленному дядюшке, чем прервал его бурный аплодисмент. Финал «Ревизора» оборвал и нашу пермскую историю.

Наутро десятки босоногих школяров курьерами разлетелись по улицам, приглашая пермских чиновников на перекличку к губернатору. У резиденции возникла немалая очередь.Однако многих душ недосчитались. На вопрос генерала про отсутствующих дядюшка посоветовал послать курьеров на кладбище. Старенький губернатор перекрестился.

— А где же тогда 82 тысячи рублей, якобы полученных покойниками? Как доложил казначей Тютюнников, эту сумму он передавал по частям вам лично, — грозно обратился столичный ревизор к дядюшке.

— Я отвез их в Петербург и передал министру финансов Петру Федоровичу Броку. Как он распорядился ими, мне неизвестно, — с достоинством ответил Василий Евграфович. Все замерли. Жирная зелёная муха с жужжанием сделала в воздухе почётный круг и, усевшись на документы, стала потирать лапки.

— Не может быть! — сказал побледневший генерал.

Губернатор перекрестился вторично.

— Вот видите: мне не верите, а казначею поверили! — усмехнулся дядюшка.

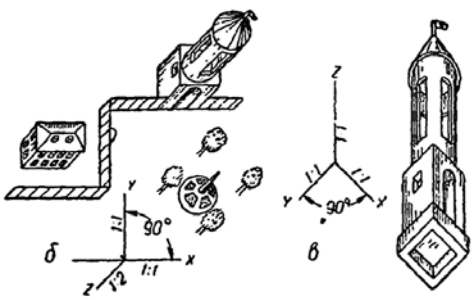
Несмотря на остроумный ответ председателя палаты, доказано было арифметически, что председатель палаты аккуратно получал за покойников жалованье и пенсии. На подобную сумму нынче можно не только построить дом на Монастырской, но и купить деревеньку с мужиками.

Престарелый губернатор Илья Иванович Огарев не выдержал волнения и через полгода скончался от апоплексического удара. Впрочем, покровители дядюшки, однокашники по Благородному пансиону, как обычно, не дали ход уездному скандалу. Докладная записка в Государственный совет исчезла без следа и доклада. Правда, Василию Евграфовичу пришлось продать дом и покинуть гостеприимную Пермь. Велика Россия, и волны от всяких неудобных происшествий затухают, канув, на протяжении длинных верст и пыльных дорог.

Дядюшку назначили Председателем казённой палаты в Нижний Новгород. А я уехал на Кавказ, где написал известные вам «Письма к другу, впечатления от путешествия от Перми до Кавказа», опубликованные в «Санкт-Петербургских Ведомостях» в 1853–1854 годах.

**Владимир Кочнев**

# *Снеговик, собака и Достоевский*




***

словно труп бандита
украшенный татуировками
всплывает со дна сознания
стихотворение
колышется в мутно-зеленоватой воде
напрягаю зрение
не разобрать черных строчек
на коричневом теле
просыпаюсь

***

не хочу беспокоиться о будущем
не хочу ворошить прошлое
твои ладони уснули на моей груди
словно две птицы

***

время не движется ни вперед
ни назад
я знаю ты ждешь меня там
в пустой комнате
пока падает снег за окном
и кто-то спускается по лестнице
так медленно
что кажется движение остановилось
и все умерло
но потом шаги возобновляются
и долетают до уха
как упавший лист или сердце упавшее вниз
или рухнувшее дерево
и снова все останавливается
и люди покупают массу ненужных вещей
в магазинах
и наряжают елки
и твои наряды в кладовке хранят тишину

нарушаемую шелестом старых тетрадей
в которых ты писала о любовниках юности
ты ждешь меня
так медленно
что кажется на другом конце города
я чувствую биение твоего сердца
и чашечка слегка дребезжит на столе
отражая твое желание
и мой трамвай вытягивается словно
протянутая рука
и хрупкий букет орхидей дрожит
словно гнездо птенцов
пока твоя дочь рисует рожицы и принцесс
и учит буквы и выдыхает их на морозе
катая на языке холод и время
пока я спешу к тебе поднимаясь по лестнице
чтобы замереть на пороге
как снеговик только что слепленный
во дворе
из мягкого плотного
совершенного
полного
и неведомого счастья

***

зимний вечер
тянется долго
как разговор с сумасшедшим

***

ты чувствуешь что умер
достоевский
и в воздухе чего-то не хватает
как будто нечем дышать
не о чем думать
не на что надеяться
и стало все еще хуже чем было
ты чувствуешь что умер достоевский
и тебе теперь не с кем поговорить
(не то чтобы и раньше было особо с кем)
но сегодня умер
достоевский
и больше некому подать
руки
протянуть шляпу
спросить о важном
кто теперь утрет слезу на щеке ребенка?
кто спасет жучку?
кто выслушает ипполита?
кто пожалеет рогожина?
спасет родиона?
оправдает настасью филипповну?
кто будет издеваться
над салтыковым-щедриным и толстым?
кто будет молиться за нас?
кто будет молиться за нас?
кто будет молиться за нас?
ты чувствуешь что умер достоевский
ты внезапно понял это спустя
140 лет

***

тишина это место
в которое пришли поезда

***

удовольствие
быть с тобой трогать тебя
удовольствие чувствовать запах твоей кожи
удовольствие
касаться мочки твоего уха
удовольствие трогать пальцы
и целовать
ты как ломтики лимона
ты как устрицы ты как вино
как огонь конфорки холодной зимой
у которого отогреваешь пальцы замерзшие
ты как струя горячего душа
ты как нежность
ты как фрейя
богиня ласкающая скальдов замерзших
в мире морозном где струится лиловое время
ты как радость щемящая
на пороге невозможной весны
ты как легкий ветер
как небо

и твои ладони
раскрываются как цветы
когда я целую их
вскармливая внутри своей сердцевины
птенцов
которые оперяются
и взлетают
в теплое небо
неся внутри
комочков сердец тишину

***

зима
зажигаю спичку
чтобы понять что жив

***

ты видишь
как молча они идут
как шуршат листвой
оболочками тел
одеждой
как мышцы
переливается под блестящей кожей
угрюмо
одиноко
неостановимо
мужчина и собака
и чуть следом
женщина и собака
вот они пересекают
улицу
идут сквозь деревья
парк
двор
поминутно пропадая из виду
в редком отблеске фонарей
кажется они вернулись с ночной охоты
где четвероногие драли кроликов
где мужчина и женщина
указывали куда бежать
кидали палку
свистели в свисток
где один из пары
был мозгом
приказом
волей
другой страстью
ревом
прыжком
но сейчас они движутся
словно кентавры
на тонком как струна поводке
как единое целое
объятые единственной
волей
желанием
целью
олицетворяя то ли
любовь и целостность
то ли угрозу
мужчина
женщина
их собаки
поджатые молчаливые
бесшумные сгорбленные
почти невидимые в ночной темноте

***

луна или круглая вывеска
над магазином
не все ли равно
что укажет нам путь?

***

где-то там снаружи
молния хочет тебя
ветер и дождь готовы подарить
поцелуй
темнота распахивает глаза
чтобы всмотреться в лицо
приближение осени
тянет ладонь для пожатия
когда ни одна
из твоих любовниц
больше не помнит тебя

**Андрей Кудрин**

# *История в литературе и литература в истории в повести А. Гайдара «Лесные братья»*

*В 2022 году исполняется 95 лет со дня публикации «Давыдовщины» — последней из уральских повестей Аркадия Гайдара, известной также под другим названием — «Лесные братья». Это небольшое произведение является частью дилогии, начало которой было положено публикацией в Перми в 1926 году повести «Жизнь ни во что» («Лбовщина»). Речь о ней в «Вещи» ранее уже шла[1]. Если в центре сюжета первой книги находился известный в то время многим уральцам экспроприатор времён первой русской революции Александр Лбов, то главными героями второй стали его последователи братья Давыдовы.*

*Действие повести «Лесные братья» происходит в 1905–08 годах на территории Соликамского и Пермского уездов Пермской губернии и в её столице. В центре внимания читателей вновь оказываются рабочие, после завершения массового революционного подъёма ушедшие в леса для продолжения вооружённого сопротивления самодержавию. В этой повести так же, как и во «Лбовщине», две сюжетные линии: основная и побочная. В отличие от первой части дилогии, при написании второй Гайдар несколько изменил свой подход, убрал любовную тему и оставил только революционную. Последняя включала в себя схватки с полицией и «ингушами»[2], действия провокаторов, отношения с рабочими и внутренние противоречия отряда, в котором два брата пропагандист и агитатор Иван и боевик Алексей постоянно ведут между собой дискуссии о методах борьбы[3]. Именно эпизоды вооружённого противостояния и их политическая подоплёка составляют содержание основной сюжетной линии.*

*Вторая линия имеет сатирический характер, и этим «Лесные братья» напоминают «Жизнь ни во что». Главной фигурой в ней выступает факир Али-Селям, совмещающий работу в уличном цирке с пьянством и религиозными исканиями.*

27 июля 1926 года в пермской окружной газете «Звезда» вышел фельетон «Шумит ночной Марсель», в нём автор критиковал следователя, который в свободное время подрабатывал музыкантом в оркестре одного из злачных ресторанов. «Герой» статьи обиделся и подал на журналиста в суд. Злосчастным фельетонистом оказался не кто иной, как не так давно ставший Гайдаром Аркадий Голиков[4]. Это был уже не первый скандал, в который он угодил за то недолгое время, что работал в газете. Первый конфликт с общественностью в лице учеников и преподавателей местной партийной школы, в которой к тому же училась его жена, у Гайдара случился ещё зимой, вскоре после его зачисления в штат[5]. Трения возникли из-за фельетона «Альбомные стихи», вышедшего 13 февраля того же года, в котором критиковались мещанские вкусы молодых коммунистов. Только благодаря вмешательству редакции газеты, включая её руководителя, скандал удалось замять[7].

Заседание суда по делу Гайдара состоялось осенью — 13 ноября. При разбирательстве в фельетоне не было найдено никакой клеветы, но тем не менее установлено оскорбление личности истца. Аркадий Голиков был осуждён на одну неделю заключения, однако ввиду отсутствия опасности для общества с его стороны судья предложил вместо этого вынести ему общественное порицание от имени редакции. Потерпевшего приговор, не устраивал и он подал апелляцию в Уральский областной суд[8], но тот 29 декабря утвердил ранее вынесенное решение нижестоящей инстанции. Всё это время обвиняемый Голиков находился в Перми под подпиской о невыезде. В итоге сам потерпевший был уволен с должности за недопустимое совместительство, а Гайдар получил порицание. На этой почве у него возник конфликт с редактором «Звезды», который в январе 1927 года забраковал подряд пять его фельетонов, назвав их на редакционном совещании слабыми. В то же время за Голикова открыто вступились областная газета «Уральский рабочий» и центральная партийная газета «Правда». В результате Гайдар ушёл из «Звезды», и не только ушёл, но и уехал из Перми в соседний Свердловск, где в феврале 1927 года приступил к работе в редакции «Уральского рабочего» в качестве старшего фельетониста[9].

Областная газета была значительно выше окружной и по качеству своих материалов, и по полиграфии, работать в ней было престижнее и ответственнее. В уральской столице Гайдар поселился в старинном доме семьи Пестовых на Набережной рабочей молодежи, 23 и прожил там с 20 февраля по 21 мая. За это время свердловское издание опубликовало 12 его фельетонов и очерк. В 29 номерах газеты[10] с 10 мая по 12 июня[11] были напечатаны и «Лесные братья», каждый подвал с ними содержал оригинальные иллюстрации. В это же время, но с задержкой на пять дней повесть выходила и в другой, верхнекамской окружной газете «Смычка». Так же, как и «Звезда», пытаясь привлечь читателей, «Уральский рабочий» перед началом печати второй повести Гайдара о лесных братьях сначала давал рекламу[12].

«Давыдовщина» писалась Гайдаром тщательнее и дольше, чем «Лбовщина», последняя, несомненно, обсуждалась в редакции свердловского издания[13]. Учёл Аркадий Петрович, по-видимому, и критику первой части дилогии главой отдела истпарта Пермского окружного комитета ВКП (б) К.Г. Ольховской[14]. Так же, как и при публикации «Жизни ни во что», он сделал авторское предуведомление читателям, чтобы у них не возникало лишних вопросов: «Повесть эта написана на исторической канве, и главные действующие лица её — действительно существовавшие люди, все же второстепенные персонажи — вымышлены и введены исключительно с тем, чтобы сделать повесть более занимательной и интересной. А поэтому некоторое расхождение написанного с действительно происходившим не должно смущать товарищей, которым когда-либо приходилось встречаться с «лесными братьями»[15].

Для сбора исторического материала Гайдар специально ездил из Свердловска в Пермь, чтобы поработать в архиве, посещал он и Александровский завод — место жительства братьев Давыдовых[16], общался со свидетелями событий давыдовщины[17].

Квалифицированных авторов в Свердловске в то время было больше, чем в Перми, читатель более искушён. И хотя «Давыдовщина» имела успех, в Верхнекамье, где происходили события, описанные в повести, более заметный, в уральской столице несколько меньший[18], отдельным изданием там, как «Лбовщина» в Перми, она не вышла. Впервые «Лесные братья» были включены в книгу только шестьдесят лет спустя, в 1987 году, когда в Москве в издательстве «Правда» вышел одноимённый сборник ранних приключенческих повестей Гайдара.

Несмотря на то, что художественные качества этого произведения небесспорны, одно несомненное достоинство у него есть. Как уже говорилось, Гайдар учёл критические замечания в адрес первой части дилогии, сюжет которой местами сильно отклонялся от реальной исторической канвы, и в новой повести более строго следовал фактам.

## II

Во второй части дилогии Гайдар также начал повествование с 1905 года, но на этот раз не с декабрьских дней в Мотовилихе, а с забастовки на Луньевских копях[19], расположенных близ Александровского завода[20]. О главном уральском эпизоде той революции он напомнил читателю позже, когда в очередной раз обратился к фигуре Александра Лбова[21]. Как было свойственно эпохе, автор преувеличил масштаб этого события. Во время восстания, которое, по его словам, было «зарублено сотнями казачьих шашек»[22], рабочий лафетного цеха Лбов командовал одной из баррикад[23], а после поражения, когда многие восставшие были арестованы, многие повешены[24], ушёл, «захватив с собою холодную пропитанную ненавистью винтовку», в лес[25]. В избушку, в которой он жил, рабочие приносили на хранение оружие, патроны, бомбы[26], а весной к нему приехали четыре петербургских боевика[27], сжато повторял для аудитории двух непермских газет содержание первой части дилогии Гайдар. Вместе они совершили несколько «сумасшедших налётов», после которых к ним присоединилось много посторонних людей, а ещё через одну зиму началось «сказочное усиление»[28] — «десятки, сотни новых боевиков»[29].

Именно в пору «сказочного усиления» попал в отряд Лбова и главный герой второй части дилогии Алексей Давыдов[30]. Этому предшествовал эпизод, описанный Гайдаром близко к фактам с минимумом дополнений от себя, во время которого ключевой персонаж повести вступил в открытый конфликт с законом. Уволенный за неблагонадёжность с работы и промышлявший подёнщиной Алексей вместе со своим скрывающимся от ареста другом Петром Неволиным оказал вооружённое сопротивление двум полицейским: уряднику и стражнику. При этом Неволин ранил урядника из револьвера, а после ещё и совершил покушение на жизнь управляющего Луньевскими каменноугольными копями[31]. Необходимо отметить, что, как и в «Лбовщине», значительная часть персонажей книги, включая второстепенных и однократно упоминаемых, имеет реальных прототипов. Так Неволина, как и ряд других героев, автор изобразил под его настоящим именем и фамилией. В дальнейшем этот персонаж появляется ещё несколько раз: детально в эпизоде, посвящённом его гибели[32], и мельком в связи с заключением и последующим побегом брата Алексея Давыдова Ивана из Соликамской тюрьмы, а также нападением на винную лавку во Всеволодо-Вильве[33]. Смерть Петра Неволина писатель изобразил иначе, чем это было в действительности. Боевик с этим именем был легко ранен 16 сентября 1907 года во время одной из полицейских облав в посёлке Всеволодо-Вильва, а на следующий день у станции Шиши[34] повторно и на этот раз смертельно ранен в перестрелке[35] с железнодорожными жандармами[36].

О старшем брате Давыдове — Алексеиче, весьма красноречивый псевдоним Ивана, многое говорящий о характере отношений между двумя братьями, Гайдар поначалу напоминает читателю через диалоги. То о нём спросит рабочий[37], то сам Алексей расскажет про него

Лбову[38]. Кличка старшего Давыдова была писателем из текста произведения исключена, по-видимому, она мешала реализации его замысла. Братья в повести — это два равновеликих полюса, олицетворяющие два разных метода борьбы, между которыми необходимо найти равновесие. Не стал писать Гайдар и о том, за что Иван Давыдов попал в тюрьму, и это объяснимо. В 1927 году ещё можно было нейтрально и даже сочувственно рассказывать о представителях разных революционных течений, но Аркадий Голиков был искренним коммунистом с весьма внушительным для своего возраста партийным стажем, поэтому членство Алексеича в партии эсеров он предпочёл не афишировать. Соответственно и арест Ивана в октябре 1906 года на съезде социалистов-революционеров в Перми, в результате которого Давыдов-старший оказался в тюрьме, автор опустил.

Не упомянул писатель и о том, что через несколько месяцев Иван был выпущен из заключения под надзор полиции и к моменту появления Алексея и лбовцев в окрестностях Александровского завода вполне спокойно жил на родине. Будучи ещё в отряде Лбова, младший брат, желая предупредить старшего о скором своём появлении, написал ему из Мотовилихи письмо, часть которого была зашифрована, однако полиция зорко следила за перепиской поднадзорного и заблаговременно конфисковала это послание. Когда же лесные братья начали действовать, Ивана вновь арестовали, как тогда говорили, в порядке охраны, и отправили в Соликамский тюремный замок. В повести же Иван, как можно понять из текста, сидит в тюрьме ещё до появления его брата со своим отрядом в Луньевских копях[39].

Как писал Гайдар, в июле А. Давыдов с четырьмя лбовцами[40]: Семевым, Мальцевым, Студентом и Белявиным появился в окрестностях Луньевки и Александровского завода[41]. В действительности почти всех лбовцев, приехавших с Соловьём[42], такую кличку получил Алексей Давыдов среди лесных братьев, звали иначе. Но тем не менее и сквозь этот перечень проступает историческая реальность. Прототипом Семева, несомненно, был В.Ф. Сёмов. Он совсем недолго находился в отряде Давыдовых, уже в середине августа его арестовали за участие в нападении на кассира Верх-Исетского завода в составе другой группы лесных братьев, действовавшей в Екатеринбургском уезде. Он же был одним из участников эпопеи с неудачной попыткой массового побега арестованных лесных братьев из Пермской губернской тюрьмы в мае 1908 года.

К Уральскому боевому отряду, так именовала себя эта группа лесных братьев, имели отношение сразу два Мальцевых: Александр и Иван, но ни один из них не был лбовцем, что не помешало Гайдару синтезировать из них одного персонажа. Студент, судя по всему, также образ собирательный, настоящие студенты среди давыдовцев отсутствовали, но имелись учащиеся училищ и Пермской духовной семинарии, помимо этого некоторые из лесных братьев из конспиративных соображений выдавали себя за студентов, хотя ими не являлись. Очевидным прототипом Белявина стал Владимир Белавин — компаньон Ивана Давыдова и Петра Нелюбина по побегу из Соликамского тюремного замка[43].

Первое выступление отряда, организованного Алексеем, произошедшее 3 августа 1907 года, когда группа лесных братьев с красным знаменем демонстративно разгромила казённую винную лавку, описано писателем сжато, но близко к фактам, за исключением того момента, что в доме управляющего не было никаких жандармов, с которыми перестреливались давыдовцы[44]. Единственный выстрел в ответ сделал сам управляющий из личного оружия.

Нападение на Всеволодо-Вильву Гайдар упростил, хотя суть изложил верно. Давыдовцы действительно так же открыто, действуя под красным флагом, разгромили там винную лавку, но сначала они взломали кассу на одноимённой железнодорожной станции. Перестрелка тоже была, но не до, а после того, как лесные братья разобрались с деньгами и водкой. Кстати, жители села приняли активнейшее участие в расхищении продукции монополькиа[45], и в итоге многие крепко напились. Полиция позже даже провела следствие по этому факту и привлекла местное население к ответственности. Писатель отразил это в образе мужика, похитившего штоф[46].

Самую крупную акцию давыдовского отряда, нападение на заводского артельщика (кассира) Муранова, Гайдар упомянул, не вдаваясь в подробности[47], и это совершенно понятно. Трудно объяснить читателям двух рабочих газет, что изъятие лесными братьями семи с лишним тысяч рублей, предназначенных для выплаты зарплаты, пошло на пользу пролетариям.

Только два персонажа повести помимо самих братьев Давыдовых играют значительную роль в развитии сюжета — это Штейников[48] и Али-Селям (он же Семён Фёдоров[49]). И если второй — плод фантазии автора, то первый имеет исторического прототипа — боевика Михаила Штенникова[50].

Гайдар отправил его литературного двойника из Чердынской тюрьмы этапом в Соликамский тюремный замок в мае 1907 года[51], где по сюжету уже сидел Иван Давыдов и куда позже попал Пётр Неволин. Примечательно, что в тюрьме бывшего унтер-офицера, таким званием наградил своего героя автор, не только били по зубам, трижды отправляли в карцер, но и дважды секли. В годы столыпинской реакции на Урале были пенитенциарные учреждения, известные жестокими издевательствами над заключёнными, например, Николаевское исправительное арестантское отделение близ Нижней Туры, но Соликамский тюремный замок к ним не относился.

Прототип Штейникова — Михаил Штенников — не был такой героической фигурой, как его литературный аналог. О нём известно немногое. В июне 1907 года он бежал из Пермского исправительного арестантского отделения (по другим данным Николаевского), где отбывал срок в два с половиной года по решению пермского окружного суда, до этого сидел в Чердынской тюрьме и также пытался бежать из неё. Ещё раньше служил в армии по призыву. Гайдаровский Штейников тоже бежал из тюрьмы, только Соликамской, и скрывался в доме товарища по заключению Ларионова в Александровском заводе, в посёлке он познакомился с бомбистом Тимшиным и другими рабочими, а вскоре после появления неподалёку Алексея Давыдова с лбовцами примкнул к ним[52].

Как оказался в рядах лесных братьев его прообраз Штенников доподлинно неизвестно. Точно установлено одно, в первой декаде августа того же года он уже состоял членом отряда Алексея Давыдова, где был известен под кличкой Быстрый[53], причём на первых порах Штенников, возможно, выдавал себя за студента Казанского университета Григория Васёва и был фигурой равновеликой Соловью. Знали ли его реальные Ларионов[54] с Тимшиным[55]? Несомненно. Оба они прибегали к террору ещё в начальный период революции[56], а позднее активно сотрудничали с давыдовцами.

Быстрый принимал активнейшее участие во всех ключевых акциях лесных братьев в 1907 году, но через некоторое время вдруг исчез. Как и когда Штенников покинул давыдовцев, тоже не установлено. Скорее всего, это случилось в том же году, хотя, возможно, и позднее. Героический уход Штейникова из отряда, чтобы отвести преследователей от своих товарищей, от начала и до конца художественный вымысел Гайдара[57]. Только через год после разгрома последних лесных братьев, осенью 1909 года, Штенников был обнаружен полицией у себя на родине — в Юрлинской волости. Как выяснилось, там он скрывался по разным деревням то у родственников, то у знакомых, днём сидел в голбце, а ночью поднимался наверх. Из оружия у него оставался только кинжал.

При допросах оказалось, что Штенников внешне очень похож на злоумышленника, в мае того же года напавшего на дом купца Пермякова в посёлке Кувинского завода. Во время попытки ограбления тогда были зарезаны жена и мать купца, а у девочки-прислуги кинжалом изуродовано лицо. После недолгого запирательства под давлением фактов (свидетели единодушно указывали на него) бывший боевик признался в этом преступлении.

Пока шло следствие, Штенников сидел в Соликамском тюремном замке, затем его перевели в уже знакомое ему Пермское исправительное арестантское отделение, а потом ещё дальше — в Екатеринбургскую тюрьму. Дело почти сразу передали в юрисдикцию Казанского

военно-окружного суда, но сам процесс всё откладывался и откладывался. Только в конце октября 1910 года в Перми суд всё же состоялся, его итог был предсказуем, обвиняемого приговорили к смертной казни через повешение и вскоре приговор был приведён в исполнение.

В ещё одного персонажа, помимо Штейникова и Неволина, Гайдар превратил рабочего Деменева[58], выступающего в книге под своей настоящей фамилией[59]. Он действительно был арестован полицией и бежал[60], как писал автор, а в дальнейшем, примкнув к лесным братьям, участвовал в акциях давыдовского отряда. Основной эпизод, связанный с ним в книге, которому посвящена маленькая главка — это его смерть. Писатель взял за основу события 8 мая 1908 года на железнодорожной станции Солеварни (в книге Усолье)[61], где произошла перестрелка давыдовцев во главе с И.А. Деменевым и двух жандармов, в результате которой один из последних умер от ран, другой получил лёгкое ранение, а сам инициатор нападения был убит. Гайдар приукрасил этот инцидент, доведя число жандармов до пяти. В действительности не вполне ясна даже его причина, то ли это была неудачная попытка нападения на почтовое отделение, находившееся при станции[62], то ли покушение на жизнь одного из жандармов с целью мести. Второй вариант вполне вероятен, т.к. из троих товарищей Деменева двое были недавно уволенными из депо этой станции железнодорожными рабочими.

Конец отряда братьев Давыдовых Гайдар описывал так же упрощённо, как и ряд других реальных событий до этого. Очевидно, он смотрел архивные документы, а не только полагался на воспоминания участников событий, но сознательно поменял отдельные эпизоды, исходя из каких-то своих соображений, где-то понятных, где-то труднообъяснимых. Лесные братья на последнем этапе своего существования действительно очень плотно велись полицейской агентурой. Алексей Давыдов чудом ушёл из ловушки, расставленной ему в Чусовском заводе, хотя он был не один, как писал автор повести[63], а с товарищем[64], и в руках стражников после скоротечной перестрелки и бегства остались его любимая женщина[65] и сестра.

В «Давыдовщине», в отличие от «Лбовщины», Гайдар куда резче сделал акцент на то, что отряд братьев Давыдовых действовал в условиях спада революционного движения, усталости масс от репрессий. Им были более детально обрисованы отношения между рабочими и лесными братьями, как лбовцами, так и давыдовцами, их эволюция от всемерной помощи и упования на защиту от преследований до разочарования, усталости и просьб прекратить борьбу.

Тем не менее этот в целом верный подход не в полной мере соответствует фактам. Покинуть основной район своих действий давыдовцы решили не столько из-за утраты поддержки рабочих, как об этом писал Гайдар[66], она ещё в какой-то мере сохранялась, сколько из-за того, что полиция уничтожила эсеровские ячейки и структуры «Уральского боевого союза»[67], которые помогали лесным братьям и подпитывали их кадрами и оружием. В последние месяцы и недели своего существования давыдовцы несколько раз попадали в искусно устроенные засады. Именно в результате такого случая выбыл из отряда Иван Давыдов, которого полицейские выследили вместе с одним из товарищей[68] неподалёку от Всеволодо-Вильвы, но задержать не смогли, раненный в ногу, он сумел уйти от преследования. Алексеич действительно, как писал Гайдар[69], семь суток скрывался в лесу и был найден спящим с заряженным револьвером возле лесной дороги. За неделю у него развилась гангрена, и дальше Александровской заводской больницы его никуда не повезли. Там он и умер спустя ещё двенадцать суток. Писатель, обыгрывая этот драматический эпизод, сочинил красивую историю о милосердном враче, давшем Ивану яда[70], но реальность была куда грубее и прозаичнее.

Задержание Соловья Гайдар оставляет без подробностей, лишь сообщает, что это произошло на пароходе возле Чёрмоза[71]. На самом деле трое оставшихся лесных братьев были арестованы на пристани Добрянка. Агент полиции, которому они полностью доверяли, как своему товарищу из партийного комитета, уговорил их перебраться на Южный Урал, в Златоуст, где революционные боевики, в отличие от Пермской губернии, продолжали достаточно активно действовать, а по пути совершить экспроприацию в посёлке Добрянского завода. Чтобы всё

прошло успешно, боевикам были сделаны новые документы, куплена приличная одежда, выданы парики, накладные бороды и усы. Дабы избежать задержания в случае проверки документов и личного досмотра по требованию своего лжетоварища, который ехал отдельно в каюте первого класса, всё оружие было передано ему на хранение. Сев на пароход «Лунегов» на пристани «Орёл», боевики не догадывались, что уже обрекли себя на смерть. Когда настал решающий момент, им нечем было защищаться и они легко были схвачены. Казнили их не всех вместе, Алексея Давыдова повесили 1 октября 1908 года в помещении Пермского исправительного арестантского отделения[72] одновременно с Василием Сёмовым, с которым Соловей когда-то начинал свою атаманскую карьеру, Петра Чудинова[73], упомянутого Гайдаром, с двумя другими боевиками на семнадцать дней позже, а третьего только летом 1909 года.

Автор повести не скрывал, что лесные братья в восприятии народа полностью соответствовали архетипу добрых разбойников, и иллюстрировал это слухами о белом коне с кавказской уздечкой Алексея Давыдова, шашке в серебряных ножнах, о мешках денег и т.п. Своё понимание того, как на самом деле обстояло дело, Гайдар вложил в уста главного героя: «Коли для управителя мы разбойники, так он сам для нас первый бандит. Мы, мать, у богатых награбленное берём, а он последнюю полушку у нищего норовит вытащить. А ты, Анка, меньше слушай, что бабы языками чешут. Нет у нас привычки деньги мешками возить, а когда случаются деньги, так сразу в оборот идут: оружие достать, товарищей из тюрьмы выручить, либо голодные рты у своего же брата рабочего, выгнанного управителем, куском хлеба заткнуть»[74].

Мнение писателя вполне подтверждается документальными свидетельствами. Давыдовец А.Ф. Бубнов во время одного из допросов в полиции достаточно ясно ответил на вопрос о цели существования отряда: «Давыдов сказывал мне, что главным «агитатором» его шайки состоит революционер Лбов, живущий где-то около Перми; что он, Давыдов, и все его участники подчинены Лбову, которому и передаются все деньги, а он отдаёт их в «Комитет».

## III

Персонажи, противостоявшие в повести лесным братьям, для Гайдара и его современников, разумеется, могли быть только отрицательными и никак иначе. Тем не менее и они являют собой не ходульные образы, а отражения реальных людей. Почти у каждого из них так же, как и у положительных героев этого произведения, есть свои исторические прототипы. О вскользь упомянутом губернаторе Болтникове[75], литературном alter ego пермского губернатора 1905–1909 годов А.В. Болотова, речь уже шла ранее в статье о «Лбовщине»[76], что касается остальных, то появляющиеся на первых страницах «Давыдовщины» полицейские Китаев и Попов[77], — это реальные стражник В.А. Китаев и урядник С.К. Попов, благодаря автору поменявшиеся местами так, что стражник Василий Китаев стал урядником, а урядник Степан Попов, наоборот, — стражником. Вряд ли в этой рокировке была художественная необходимость, скорее, она стала результатом спешки, мелькнув на первых страницах, эти двое далее уже не появляются.

Смотритель Луньевских каменноугольных копей А.Н. Иванов[78], напротив, не единожды возникает на страницах повести, он тоже историческое лицо. Нелюбовь к нему революционно настроенных рабочих, отражённая в книге, объяснялась достаточно просто: он был членом крайне правого «Союза Русского народа» и энергично преследовал всех подозреваемых в оппозиционной деятельности. Аналог имелся и у литературного пристава Караваева[79], им был урядник Александровского завода Караваев[80], на которого давыдовцы совершили покушение[81].

Свой предтеча обнаруживается даже у мимоходом упомянутого Гайдаром на страницах повести надзирателя Мальцева, по сюжету подкупленного Алексеем Давыдовым ради ор-

С 10 МАЯ КОГДА??? С 10 МАЯ
начинает печататься в «Уральском Рабочем»
повесть ГАЙДАРА
ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕСТИ
В 1906 г. рабочий Мотовилихинского завода Ал-др ЛБОВ организовал боевую дружину террористов.
Долго наводил он ужас на жандармерию Урала, долго перед его маузером дрожали «сторожевые собаки самодержавия», но в конце концов выданный провокатором,—был повешен и повесился великий бунтовщик ЛБОВ.
И все же, дело его не погибло. На Северном Урале один из дружинников его отряда Алексей ДАВЫДОВ снова пробег к террору, и на тех же ошибках сорвался, был также предан, судим и повешен в Пермской тюрьме..
И о том человеке-мятежнике, которого помнит рабочий Урал сообщает повесть «ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ».
Чтобы иметь возможность следить за этой повестью ежедневно у себя дома, на отдыхе, многие захотят выписать газету. Учитывая это, Издательство Уралоблисполкома идет навстречу всем запоздавшим подписаться, продлив прием подписки до 15 мая
Кроме того все полугодовые подписчики получат в виде новое бесплатное приложение—карту Урала в 7 красках.
Подписка принимается в области: всеми конторами, киосками уполномоч.
В гор. Свердловске—непосредственно в Издательстве (ул. Вайнера, 12, первый этаж, отсюда подписка) уполномоченными в учреждениях, на предприятиях и у разносчиков газет.

*Реклама повести А.П. Гайдара «Лесные братья» в номере газеты «Уральский рабочий» за 7 мая 1927 года*

...тогда он упал вниз лицом.

*Иллюстрация к повести А.П. Гайдара «Лесные братья» в газете «Уральский рабочий» за 8 июня 1927 года*

ганизации побега Ивана Давыдова и Петра Неволина[82]. Ирония в том, что фамилию Мальцев на деле носил не надзиратель, а напротив, один из помогавших давыдовцам рабочих — А.И. Мальцев, именно через него за содействие освобождению трёх, а не двух заключённых[83] получил вознаграждение помощник надзирателя И.И. Мальков, который во время побега, чтобы не навлечь на себя наказание, тоже скрылся[84].

В числе других отрицательных персонажей фигурирует и старик-часовщик, убитый давыдовцами из-за подозрений в провокаторской деятельности[85]. За этим литературным эпизодом стоят события, которые не лучшим образом характеризуют лесных братьев. Алексей Давыдов считал, что причиной ареста Ивана стал донос александровского часового мастера Ф.К. Дубкова, их пожилого соседа, жившего в доме напротив. 11 августа 1907 года к последнему явился неизвестный молодой человек и застрелил его двумя выстрелами из револьвера в упор, оставив записку. Надпись на бумаге была короткая и ёмкая: «За шпионство — Дубкову. Анархисты-террористы». Это событие вызвало недоумение у пермских жандармов, т.к. в действительности Фёдор Дубков не был осведомителем в прямом смысле этого слова. У Фёдора был женатый сын, который отбывал наказание за железнодорожную забастовку 1905 года, молодая сноха Дубкова жила рядом с ним во флигеле на том же дворе[86]. Однажды часовщик заметил, что во флигель стал приходить Иван Давыдов. Фёдору эти визиты не понравились, и он стал жаловаться на незваного гостя волостному старшине, прося прекратить эти посещения. Вскоре последовал арест старшего Давыдова, что и было ошибочно истолковано лесными братьями как сотрудничество Дубкова с полицией. За убийство часовщика позже был осуждён и повешен рабочий С.С. Безгодов, один из товарищей братьев Давыдовых, он фигурировал в повести под своей фамилией. Однако на суде Степан Безгодов категорически отрицал вину за это преступление. По некоторым данным, настоящим исполнителем Дубкова был Штенников[87], и Гайдар, судя по повести, разделял это предположение, т.к. возложил ту же роль на его литературного двойника[88].

Тема слежки и провокации вообще одна из центральных в «Давыдовщине». Филёры возникают в эпизоде, где Алексей Давыдов встречается со лбовцем по кличке Студент в Перми[89], агенты-провокаторы фигурируют в разговорах героев, в авторской речи, наконец, присутству-

ют непосредственно в отряде лесных братьев[90] — они буквально повсюду. Это не гипербола, сотрудники полиции действительно работали под прикрытием среди давыдовцев. Агентурную работу в Мотовилихе курировало пермское охранное отделение, нет ничего удивительного в том, что с местным приставом Иваном Буровым у него сложились очень тесные взаимоотношения. Последнего охранка ценила и использовала в борьбе с лесными братьями. По заданию начальника охранного отделения пристав лично не только участвовал в облавах и засадах, но и короткое время, в тот период, когда отряд братьев Давыдовых действовал вблизи Чусовского завода, работал с ним в качестве агента-провокатора. Стремясь искоренить экспроприаторское движение в губернии, подобной работы не чурался и сам начальник отделения ротмистр В.И. Сизых. Выдавая себя за сочувствующего революции торговца оружием, он лично встречался со специально приехавшей для его закупки в Пермь сестрой и соратницей братьев Давыдовых Анной[91] и для того, чтобы внушить ей доверие к себе, даже передал ей в качестве образцов два пистолета. Однако человеком, погубившим давыдовский отряд, был всё-таки не Буров и не Сизых, а агент под оперативным псевдонимом Кауфман, чьи настоящие имя и фамилия неизвестны до сих пор. Именно он заманил Алексея Давыдова и его последних соратников на пароход и после сдал их полиции.

## IV

Работая над этой повестью, Гайдар, проживший к тому моменту на Урале уже полтора года, успел лучше узнать регион, его специфику, людей, да и сами места, где происходили описываемые им события. Если в «Жизни ни во что» география, за исключением Мотовилихи, где автор, разумеется, не раз бывал, достаточно абстрактна, то в «Лесных братьях» она, наоборот, предельно конкретна. Видно, что писатель при работе над книгой уже хорошо ориентировался как в Перми, так и в окрестностях Александровского завода и Луньевки.

К примеру, в балагане на пермской Сенной площади[92], который арендовал передвижной цирк Соломона Шнеермана[93], вполне угадывается реальный деревянный цирк, выходивший фасадом на Кунгурскую улицу[94], в котором в 1908 году показывали сценки о Лбове. В 1920-е он ещё функционировал, и Гайдар, конечно, его не раз видел. Вполне реалистично выглядит и базарная пивная неподалёку от улицы Красноуфимской[95], в которой пьянствуют факир Али-Селям и фокусник Лонжерон (он же Гавриил Петухов[96]) и где Алексею Давыдову назначил встречу ловко владеющий искусством грима лбовец Студент[97]. В архивных документах иногда описывается то, как лбовцы вербовали новых боевиков, назначая им встречи в подобных местах. Аутентична и топонимика в окрестностях Луньевки и Александровского завода, Гайдар упоминает станции Копи[98], Чусовую, Пашию, речку Лытву[99], на берегах которой лесные братья организовали свою зимовку[100].

Язык «Давыдовщины» в сравнении со «Лбовщиной» более сух, реже блещет броскими эпитетами. Вероятно, молодой автор, получив порцию критики за неуместные «красивости» в прошлый раз, при продолжении темы решил подойти более строго не только к фактам, но и к слогу. Динамику действию придают отдельные детали: монета с дыркой, грубые руки Штейникова, кот, пугающийся выстрела и т.п.

Обречённость дела лесных братьев, ставящих свою и чужую жизнь ни во что, показана во второй части дилогии более наглядно, чем в первой, хотя самые нелицеприятные эпизоды реальной давыдовщины автор всё же опустил, чтобы не заставлять читателей сомневаться в главных героях повести. Атмосфера поражения, неудачи, наступления реакции всё более и более сгущается от начала к концу книги, и даже в эпилоге автор не оставляет читателям никакой надежды на будущее, что, учитывая оптимистичный взгляд Гайдара на революцию, выглядит странно.

Конечно, несмотря на большее внимание автора к деталям прошлого, остались в повести и не только сюжетные и стилистические недостатки. В частности, за многие месяцы работы над темой, в том числе знакомства с архивными документами, Гайдар так и не научился различать жандармов и уездную полицию. Хронология повествования, как и в первой части дилогии, отличается от исторической, в самом начале повести мелькают две даты — 1905 год и май 1907 года, и далее автор вновь погружает читателя в неопределённый временной поток.

Ещё весной 1927 года у Гайдара созрела мысль издать обе повести о лесных братьях одной книгой, и он отправил первую из них в «Госиздат», но рецензент вынес отрицательное заключение, и напечатать дилогию под одной обложкой тогда не получилось[101]. Позже он вновь пытался реализовать этот замысел и даже пребывал по этому поводу в переписке с пермским журналистом Б.Н. Назаровским. В сентябре 1930 года Гайдар сообщал ему о том, что некое московское издательство должно издать переработанную повесть «Лбовщина» вместе с «Давыдовщиной» и просил прежнего товарища по редакции «Звезды» прислать текст «Жизни ни во что», которого у него не было. Борис Никандрович выполнил его просьбу, но публикация дилогии и тогда не состоялась[102]. Сын писателя Тимур утверждал, что два года спустя в своём дневнике писатель убеждал себя в том, что когда-нибудь всё-таки напишет на основе «Лбовщины» и «Давыдовщины» более крупную книгу, но этому так и не суждено было случиться.

Времена менялись, книга на эту тему уже не имела издательских перспектив, сам Гайдар через несколько лет погиб на войне. Только спустя два с лишним десятилетия после этого открылись новые возможности как по историческому изучению, так и по художественному осмыслению непростой истории уральских лесных братьев, а вместе с ними появились и новые книги.

---

1 См.: Кудрин А.В. Метаморфозы исторической реальности в повести Аркадия Гайдара «Жизнь ни во что» // Вещь. 2013. № 8. С. 79–94.

2 «Ингуши» или «черкесы» — условные названия вооружённых отрядов, состоявших из кавказских горцев, создававшихся в различных местах Российской империи в годы премьерства П.А. Столыпина для выполнения охранных функций. В Предуралье и на Урале размещались в Вятской и Пермской губерниях. В последней три отряда «ингушей» были сформированы по решению губернатора А.В. Болотова летом 1907 года на деньги, взятые из кредита на содержание полицейской стражи. В том или ином виде различного рода формирования из кавказцев просуществовали в Пермской губернии до лета 1910 года.

3 См., например, Гайдар А.П. Лесные братья (Давыдовщина) // Лесные братья. Ранние приключенческие повести. М.: Правда, 1987. С. 124–125.

4 Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Аркадий Гайдар на Урале. Пермь: «Пермское книжное издательство», 1968. С. 220–222.

5 А.П. Голиков (Гайдар) был зачислен на штатную должность с окладом 1 февраля 1926 года, до этого он работал в «Звезде» сдельно. См.: Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 12.

6 Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 73–77.

7 Иск был подан за клевету в печати.

8 В то время существовала Уральская область с центром в Свердловске, размерами превышавшая нынешний федеральный округ. Она была поделена на округа, и Пермь была административным центром одного из них.

9 Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 224–234.

10 Точно так же, как и «Жизнь ни во что (Лбовщина)» в пермской «Звезде». См.: Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 132.

11 №№ 105–133.

12 См.: Уральский рабочий. 1927. 7 мая.

13 Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 149.

14 Там же. С. 129.

[15] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 102.

[16] В этом рабочем посёлке (с 1951 года — город Александровск) он прожил несколько дней в доме А.В. Тимшиной по адресу Набережная, 87. Дом сохранился до настоящего времени, улица переименована в честь самого писателя и весьма символично пересекается с главной транспортной артерией современного Александровска, носящей имя Братьев Давыдовых.

[17] Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 132.

[18] П.П. Бажов так вспоминал о выходе «Лесных братьев»: «В таких условиях было заметным литературным явлением, когда на страницах «Уральского рабочего» стала печататься с продолжением повесть Аркадия Гайдара, который тогда работал в газете… Может быть, в ней было немало литературных недостатков…, но помню, какое огромное впечатление произвела эта повесть на читателей. Видимо, люди сразу почувствовали, что пришёл новый человек, раскрывший тему революционной романтики увлекательно и просто». Бажов П. Сочинения: в 3 томах. Т. 3. М., 1976. С. 422. Цит по: Никитин А. Послесловие // Гайдар А.П. Лесные братья. Ранние приключенческие повести. С. 417.

[19] Это реальное событие, которое состоялось в ноябре 1905 года. См.: Накоряков Б.Н. Давыдовы Иван Иванович, Алексей Иванович // Революционеры Прикамья. Пермь: «Пермское книжное издательство», 1966. С. 152.

[20] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 103.

[21] И до, и после Лбов и лбовцы на страницах повести упоминаются неоднократно. Причём Гайдар вспоминает их не только в общем, но называет и некоторых конкретных персонажей первой книги, например, Матроса и Ястреба. См.: Гайдар А.П. Указ. соч. С. 145.

[22] В действительности в подавлении этого выступления рабочих из кавалерии участвовала только одна сотня 7-го Уральского казачьего полка.

[23] Реальный Лбов работал в Орудийном цехе № 2 Пермских пушечных заводов в Мотовилихе. Во время описываемых Гайдаром событий он руководил строительством двух баррикад.

[24] За участие в восстании никто повешен не был. На судебном процессе по этому делу не было вынесено ни одного смертного приговора.

[25] У исторического Лбова в это время не было никакого огнестрельного оружия, винтовка у него появилась только в середине весны 1906 года.

[26] Рабочие и члены партийных дружин действительно посещали Лбова в лесу в течение 1906 года.

[27] В реальности боевиков было не четыре, а восемь. Они представляли петербургскую автономную группу террористов-экспроприаторов и приехали в Пермь только в январе 1907 года.

[28] Наиболее активные действия лесных братьев под руководством Лбова происходили с конца апреля по конец августа 1907 года, в них действительно участвовали десятки боевиков и в отельных случаях, как, например, в Надеждинске (ныне город Серов), сотни рабочих.

[29] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 151–152.

[30] Трубинов А.А. Рабочее движение в Александровском заводе и Луньевских копях на Урале // Каторга и ссылка. 1929. № 5 (54). С. 85–86.

[31] Писатель только перенёс действие на месяц раньше, а также поменял местами роли и должности пострадавших в событиях 8 июня 1907 года полицейских, оставив всё остальное без изменений, подлинна даже фамилия подрядчика — Углев.

[32] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 154–155.

[33] Там же. С. 119, 123, 129.

[34] Сейчас это станция Березники-Сортировочная.

[35] При работе над статьёй использовались материалы Государственного архива Российской Федерации, Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории, а также статьи и заметки из дореволюционных газет, издававшихся на территории Пермской губернии.

[36] Обязанности по охране железных дорог Российской империи были возложены на Отдельный корпус жандармов.

[37] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 112.

[38] Там же. С. 118.

[39] Там же. С. 119, 123.

[40] Действительно, в конце июля 1907 года Алексей Давыдов с четырьмя лбовцами прибыл из Мотовилихи на родину. См.: Трубинов А.А. Указ. соч. С. 86.

[41] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 121.

[42] Там же. С. 124.

[43] Владимир Белавин вскоре после побега был тяжело ранен во время перестрелки во Всеволодо-Вильве 16 сентября 1907 года и 18 сентября скончался от ран.

[44] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 123–124.

[45] Монополька, казёнка — просторечные названия казённых винных лавок в то время.

[46] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 129–130.

[47] Там же. С. 130.

[48] Примечательно, что Гайдар ни разу не назвал этого своего героя по имени, только по фамилии.

[49] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 142.

[50] Иногда можно встретить утверждение, что Штенников был шурином (братом жены) Александра Лбова, но это не так. У жены Лбова — Елизаветы действительно была девичья фамилия Штенникова, но отцом её являлся мотовилихинский обыватель Василий Штенников, в то время как Михаил Штенников был сыном крестьянина деревни Русской Юрлинской волости Чердынского уезда Ивана Штенникова. Настоящий шурин Лбова Михаил Васильев Штенников, как и многие другие его родственники, задерживался полицией в порядке охраны в ноябре 1906 года, но участия в движении лесных братьев не принимал.

[51] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 103.

[52] Там же. С. 118–123.

[53] Накоряков Б.Н. Указ. соч. С. 159.

[54] Я. Ларионов — рабочий, помогавший давыдовцам.

[55] М. Тимшин — муж хозяйки дома, в котором останавливался автор повести, когда приезжал в Александровский завод собирать материал для «Лесных братьев». См.: Гайдар А.П. Указ. соч. С. 122.

[56] В ночь на 8 ноября 1905 года ими была брошена бомба в квартиру главного управляющего Егорова. От взрыва никто не пострадал. См.: Трубинов А.А. Указ. соч. С. 82.

[57] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 157–159.

[58] Там же. С. 130, 160–161.

[59] В нынешнем Александровске есть улица имени Деменева. По какой-то причине, так же как и в случае со Штенниковым, Гайдар не упоминал имя этого персонажа и использовал только фамилию.

[60] 29 августа 1907 года Иван Деменев был арестован, но во время этапирования в Соликамский тюремный замок бежал.

[61] Эта станция неоднократно меняла названия, изначально — Веретье, затем Солеварни и т.д., с 1963 года — Березники.

[62] На эту же почтовую контору в июне 1907 года покушались лбовцы. Почтовые отделения вообще были в то время популярными у революционных боевиков целями для нападения, т.к. именно через них пересылались наличные деньги.

[63] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 164–166.

[64] Константином Лабутиным.

[65] Анна Пугачёва.

[66] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 168.

[67] Малоизученная подпольная организация, существовавшая в 1906–08 годах на Урале, которая появилась в результате разочарования части эсеров в политической линии своей партии и в дальнейшем объединяла на автономных началах различные вооружённые группы на внепартийной основе. И лбовцы, и давыдовцы были с ней тесно связаны.

[68] Петром Чудиновым.

[69] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 168–169.

[70] Там же. С. 169.

[71] Там же.
[72] Сейчас это Пермский театр кукол.
[73] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 164, 170.
[74] Там же. С. 126.
[75] Там же. С. 130–131.
[76] Кудрин А.В. Указ. соч. С. 89–90.
[77] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 105.
[78] Там же. С. 108.
[79] Там же. С. 105.
[80] В бане урядника Караваева производились избиения арестованных, подозревавшихся в сотрудничестве с лесными братьями. См.: Трубинов А.А. Указ. соч. С. 87.
[81] Именно за бомбу, брошенную в квартиру Караваева 25 августа 1907 года, был арестован Иван Деменев.
[82] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 120, 123.
[83] Иван Давыдов, Пётр Неволин и Владимир Белавин бежали из Соликамского тюремного замка 4 сентября 1907 года.
[84] Трубинов А.А. Указ. соч. С. 86–87.
[85] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 124–129.
[86] Спустя три с лишним месяца, в конце ноября 1907 года, сноха Дубкова Прасковья была арестована в порядке охраны «за снабжение шайки разбойника Давыдова продовольственными продуктами и одеждой».
[87] Трубинов А.А. Указ. соч. С. 86.
[88] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 170.
[89] Там же. С. 113–116.
[90] Там же. С. 140–153, 166–169.
[91] Мать Давыдовых, их сестра Анна и даже юный и самый младший брат Василий, которые упоминаются в повести, оказывали в той или иной мере содействие лесным братьям и подвергались за это преследованиям со стороны полиции. См.: Трубинов А.А. Указ. соч. С. 87.
[92] Сейчас это место занимает главное здание Пермского национального исследовательского политехнического университета.
[93] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 109.
[94] Сейчас — Комсомольский проспект.
[95] Сейчас — улица Куйбышева.
[96] Гайдар А.П. Указ. соч. С. 131.
[97] Там же. С. 110, 113, 115.
[98] Там же. С. 149.
[99] Там же. С. 130.
[100] В действительности зимний лагерь лесных братьев стоял на притоке Лытвы — Урсе. См.: Накоряков Б.Н. Указ. соч. С. 156.
[101] Гинц С.М., Назаровский Б.Н. Указ. соч. С. 133.
[102] Никитин А. Указ. соч. С. 416.

**Марта Шарлай**

# *Дар бессмертия*

*О книге Андрея Торопова «Мальчик с пятеркой»*

Я помню, как читала стихи Андрея Торопова впервые много лет назад, задаваясь вопросом: серьёз или игра? До того они по-детски звучали, иногда прихрамывая, как если бы ребёнок, заигравшись, споткнулся и подвернул ножку. Я вчитывалась — и открывалась невероятная грусть: не взрослого, но того, кто близок к ангелам, у которых нет возраста, зато есть прозрение — не череды событий, а брезжащего конечного смысла.

В «Мальчике с пятеркой» на это давнее впечатление получаю прямой ответ:

Моя нога болит, потому что я — Жанна д'Арк
И увидел Бога на встречной вдруг полосе,
Когда приезжаешь в другой город — иди в аквапарк,
Чтобы увидеть всех девушек во всей их красе.

Эту истину я сегодня случайно открыл
И внезапно понял, зачем я, несчастный, здесь.
Чтоб увидеть Бога там, где другой дебил
Лишь зазевался, споткнулся и вышел весь[1].

Увидеть Бога можно, казалось бы, где угодно, только не в аквапарке. «Встречная полоса» как пространство, временно недоступное (выйти на неё без риска для жизни нельзя). С другой стороны, трудно не озадачиться непостижимым (для места действия) и, безусловно, смелым: «я — Жанна д'Арк». Заявление не менее дерзкое, чем «я увидел Бога». Но, как Орлеанской деве некогда голоса святых открыли ее назначение, так лирический герой Андрея Торопова открывает (без помощи посредников) свою силу: узреть Бога там, где Его как будто нельзя встретить.

Рассыпанные в стихах Торопова имена и названия не равны себе. Они и говорят об известном, и утаивают от читателя сокровенное, что узнано быть может только своим — или даже только *самим собой*.

Потому что так хочешь добавить катрен,
Но не знаешь, про что написать,
И тогда добавляешь такое взамен,
Чтобы после *другое узнать*[2].
*(«Накормите меня кабачковой икрой...»)*

Лирическому герою имена нужны как приметы *внутренней* жизни. Читатель, даже узнавая эти приметы, не может вполне постичь их значения.

«Особенно имена собственные — отличительная черта его [Андрея Торопова] стиля. Гауф, Гофман, Дастин Хоффман, Тарковский, Гёте, мадам Севинье, Алан Милн, моцарт (sic!), Филонов, мавроди (sic!), Форрест Гамп... Они никак не оцениваются и не комментируются. В поэтике Торопова это просто слова, такие же, как табурет, лес, станок, макароны, призванные вызывать устойчивые ассоциации», — пишет в предисловии к «Мальчику с пятёркой» Катя Капович. Вот только ассоциации у каждого читателя свои, и табурет бывает сколочен по-разному.

Одно из самых насыщенных именами стихотворений сборника — «Я любил Гауфа, даже не Гофмана...»; здесь мы встретим имя поэта Тарковского.

<...>
Там, где доносятся запахи сладкие,
Ходит Тарковский с измятой тетрадкою,
Бродит под окнами злой и голодный,
Просто мальчишка — ещё не свободный,

Просит о корке у жадных людей
В серой тетрадке из слёз и соплей.
Где прорываются строчки ущербные,
И появляются связи волшебные,

И открывают заветную дверцу,
И заменяют холодное сердце
Тёплой горбушкой ячменных стихов
К маленькой жизни в стране мудрецов.

[1] Здесь и далее стихотворения, процитированные полностью, приведены без названий. Стоит отметить, что, кроме двух исключений («Верлибр» и «Сонет»), стихотворения в «Мальчике с пятёркой» не имеют самостоятельных названий.

[2] Курсив мой. — *М. Ш.*

Как в другом стихотворении лирический герой открыто утверждает: «я — Жанна д'Арк», так здесь утаивает, что перед нами не Тарковский вовсе, а он сам, «просто мальчишка — ещё не свободный», то есть не достигший высокого поэтического мастерства. В первой строфе он говорит о себе: «Я… <…> / Шарик жемчужный растил вместо сердца», в последней совершается метаморфоза: «И заменяют [связи волшебные] холодное сердце / Тёплой горбушкой ячменных стихов…»[3] — совершается с ним самим, но пока только в предощущении, а потому прямо сказать — спугнуть; тогда «я» заменяется именем поэтически близкого предшественника, фронтовая — внешняя — биография которого смешивается с внутренней биографией лирического героя Торопова[4].

Подтверждение, почему всё это относится не к Арсению Тарковскому, а к самому лирическому герою, находится довольно просто, если обратиться к процитированному выше стихотворению «Накормите меня кабачковой икрой…», к таким строкам: «Обещай ей остаться поэтом смешным / И коряво слова расставлять». Коряво расставленные слова и есть «строчки ущербные», о которых говорится здесь[5], а «связи волшебные» — именно то, о чём там таинственно сказано: «Чтобы после *другое* узнать» (курсив мой).

Лирический герой Андрея Торопова предельно открыт читателю. Он не таится, не старается быть загадочным, многозначительным. Но невозможно читать эти стихи прямолинейно. Открываешь сборник — мерещится простота:

Потихоньку, по ступенечке —
Это мне не интересно,
Эти строчки — словно семечки,
Чик-чирик — и сразу песня.

Пусть другие продвигаются,
Пробиваются на небо,
В ангелы пусть выбиваются,
Мне хватает крошек хлебных.

Ну а если горстку семечек
Мне насыплет чья-то бабушка,
Поклюю их на ступенечке,
Буду сыт, и будут ладушки.

Но не про воробья, которым решил прикинуться лирический герой, эти стихи, не про семечки или хлебные крошки, которых довольно, чтобы быть сытым, даже не про отказ выбиваться в ангелы… Не про покорность. Главное здесь: «Чик-чирик — и сразу песня». Герою не нужно толкаться локтями, не нужно «выбиваться» и «пробиваться». Он уже есть, как и его песня — «сразу». И нельзя пренебречь повторяющейся (от стихотворения к стихотворению) параллелью хлеба — песни / стихов как вечной метафорой пищи земной и пищи духовной.

[3] В стихотворении «Один станет великим поэтом…» «теплая горбушка» становится «хлебом изгнания», который сравнивается с «прозябания блином».

[4] Отделить героя от автора в стихах Андрея Торопова очень сложно, как это чаще всего происходит с поэтами-лириками. Лирический герой всегда автогерой поэта, а внутренняя биография последнего всегда важнее — и достовернее — внешней.

[5] В стихотворении «Я буду жить долго, срывая стихи с куста…» этот образ усилен масштабом: «Я буду достраивать сборник моих стихов, / Хотя получается очень *корявый дом*…» (курсив мой).

В стихах Андрея Торопова, *как будто* наивных, есть соблазн вычитать образ Питера Пэна — мальчика, отказывающегося взрослеть, и наделить такой чертой лирического героя.

И мы не будем эпичнеять,
И мы останемся детьми.
Балбесно будем чародеять
Своими дряхлыми костьми.
*(«Поэзия не эпичнеет…»)*

«И мы останемся детьми» звучит как манифест, но трудно не заметить здесь игру, иронию (и самоиронию). Вообще, чего точно нет в лирическом герое Андрея Торопова, так это инфантильности. Наив в его стихах — художественный приём или — шире — метод, но не мировоззрение.

«Белые кувшинки»
Написал Моне,
Скрыто на картинке,
Что лежит на дне:

Палки и стекляшки,
Всяческий отстой,
Голубые чашки,
Ключик золотой.

Импрессионистские, без глубокого смысла «Белые кувшинки» закольцованы с золотым ключиком, неминуемо отсылающим к сказке о наивном и в самом деле вечном ребёнке Буратино. Он радуется и ключику, и монетам просто так, как радуется всякий ребёнок, когда ему в руки попали палка, стекляшка — что угодно. К впечатлению как к изобразительному методу рифмой поставлено впечатление как способ постижения мира.

В стихотворении, начинающемся вполне импрессионистки: «Скажи слово “моцарт”, и Вольфганг в тебе заиграет…» о лирическом герое, его способе жить, прямо сказано: «Смотрит сквозь мир на свой собственный внутренний мир…»

И всё же детская тема важна для Андрея Торопова. Не случайно сборник назван «Мальчик с пятёркой». Но кто этот мальчик? Первым делом думаешь об отличившемся на уроке школьнике. Однако пятёрка тут символ не школьного ученичества, а ученичества прозой жизни. Вероятно, поэтому Андрей Торопов, приверженец классической поэтической традиции, для которой стих без рифмы — горло без голоса, помещает своего героя в верлибр:

У меня была пятирублёвая бумажка
И талоны
В очереди меня прозвали
«Мальчик с пятёркой»
*(Верлибр)*

Мальчиком героя «прозвали» другие, сторонние. Сам же герой, если и задумывался когда-то о вечном детстве, то вскользь. Невозможно с такими собеседниками, как Тарковский или тем паче Пушкин, остаться ребенком.

Нарисованный на весёлой кружке,
Чтобы выпить с горя с тобою чай,
Перейдём на шёпот, ровесник Пушкин,
Мои слёзы — это моя печаль.

Были мы зелёными и смешными,
Штурмовали с палками цитадель,
А теперь мы тоже стали большими,
Только стала мелкою наша цель.
*(«Вспоминаю сладких моих подружек…»)*

Вырастая, он обнаруживает себя растерянным, печальным — не потому, что детство кончилось, но потому, что для него кончилась эпоха великих завоеваний (всегда бескровных, не считая царапин на коленках). Цели отныне будут мелкими, приземленными, очень тривиальными. Пока не требует поэта… «А меня — всегда требует!» — запись в дневнике Марины Ивановны Цветаевой. И лирический герой Андрея Торопова мог бы сказать о себе то же. «Я своё смирение отмечаю, / Но держу свой рот на плохом замке» — так оканчивается выше процитированное стихотворение. О невозможном для поэта молчании — о чём бы ни шла речь — и стихотворение, где имя М. И. Цветаевой прямо названо:

Печатали Цветаевой черновики,
незавершённые, неудачные пустяки.
А сколько строчек у неё в голове
остались, выпали, лежат в траве.

Никто не сможет их подобрать,
никто не сможет их распознать.
А сколько строчек поэтов других
пылятся под ногами поэтов живых.

Никто не сможет их подобрать,
ну невозможно их распознать.
И в этом есть настоящий рай,
незавершённый, неудачный пускай.

Если детьми мир всё время проигрывается (отыгрывается, разыгрывается), то поэтами — беспрестанно проговаривается (а иногда и заговаривается). И, по Торопову, «настоящий рай» — в неумолчных разговорах поэтов, в стихах, рассыпанных под ногами, — их нельзя уловить, даже распознать, но они входят в атмосферу как, может быть, самая важная составляющая.

Недвусмысленно перекликается в этом отношении с юношеским цветаевским «Моим стихам, написанным так рано…» второе стихотворение сборника («Марамзино улиток и створчаток…»), особенно последние две строки.

*Торопов:*
В моих стихах, когда стихи вернутся
И будут без меня здесь сами жить.

*Цветаева:*
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.

Вообще лирический герой Андрея Торопова о стихах размышляет постоянно. При этом он вечно сомневается в своём поэтическом даре, терзается косноязычием, говорит о сво-

их стихах как о плохих, корявых, ущербных, банальных, больных, как о «косностишьях», при этом сознавая свою обречённость на них и принимая роль «маленького»[6] поэта.

Стих выскочит из ниоткуда,
Когда его совсем не ждёшь,
Как будто маленькое чудо,
Как будто маленькая вошь.

Запишешь или не запишешь,
Доносишь в сердце до конца,
Ты иногда себя не слышишь,
Не видишь третьего лица.

Он — это ты, одна порода,
И снова ты, а дальше он.
Так непонятная природа
Тебе диктует свой закон.

Как будто вылетает птичка,
Удобней фото и кино,
Сидит в невидимых кавычках
Твоё мгновение одно.

И каждый вечер так и хочется
Свернуть и заново начать,
Но можно лишь сосредоточиться,
И запрещается кричать.

Лирический герой сливается с автором («Он — это ты…»), причём «он» может быть сказано и о стихе как явлении почти природном, которым оборачивается сам поэт («Так непонятная природа / Тебе диктует свой закон»). Это существование — заключённое в невидимые кавычки мгновение, одновременно и пушкинское («Я помню чудное мгновенье…»), и фаустовское («Остановись, мгновенье!»).

Стихи для героя Торопова (и, очевидно, для самого поэта) — чудо, но и раздражение, мучение («как будто маленькая вошь»). Последняя строфа непрямолинейна, и трактовки могут быть разные, но я рискну предположить, что лирический герой говорит о возможности не другого пути вообще (оставить поэзию, не быть поэтом), но другого поэтического метода — и всё-таки сознательно остаётся с тем, что у него есть.

Однако запрет крика здесь не предписание молчания. Стихи Андрея Торопова, довольно сдержанные эмоционально, являют нам вполне открытого, ранимого, чуткого к миру лирического героя. Да, он не из героев-воителей, но и он может сражаться — по-своему.

Залезай в эту ванну,
Напиши этот стих,
Мой герой оловянный
На одной, без двоих.

[6] Кавычки здесь обозначение не цитаты, а условности определения.

Под шумящую воду
Стойко в ванне лежать
И всегда за свободу
Горько, ясно стоять.

Очевидная аллюзия — андерсеновский оловянный солдатик, от которого после всех перипетий осталось одно только сердце. Стойкость лирического героя заключена не в твёрдой поступи, а в нежном сердце, и — уже в другом стихотворении — бороться с «кровожадными мальчиками» он призывает не штыком вовсе, а тем же хлебом и зрелищами. Этот невероятный герой доходит в своём постижении мира до того, что и в «путинском грозном янычаре» видит «только несчастного от своих *стихов*», а потому верит: «правильный хип-хоп» сможет его если не излечить, то отвлечь от кровожадных дел. Но мы помним, что герой Андрея Торопова не наивен, а в наив играет, время от времени захаживая на территорию детства, чтобы в том числе принести оттуда предельно символичные образы, например Тараканища и Бармалея.

Можно ли избавиться враз от контрабаса,
Сесть за Томом Сойером на воздушный шар,
Полететь до жаркого-жаркого Донбасса,
Где гуляет путинский грозный янычар.

Шевелит усами он, хлопает в ладоши,
Кушает на ужин маленьких хохлов,
А на самом деле он такой хороший,
Только он несчастный от своих стихов.

Но от достоевщины мы его избавим,
Мы ему поможем обрести покой,
Кровожадным мальчикам надо дать забаву,
Чтоб их злая молодость не водила в бой.

Мы подарим каждому гамбургер с хот-догом,
Сводим их за ручку в рядовой секс-шоп,
Мы покажем к счастью им верную дорогу,
Распевать научим их правильный хип-хоп.

Стих-то получается очень колорадским,
Что с тобою делает длинный контрабас,
Говоришь безбоязно на своём дурацком,
Хорошо рифмуется с Зюскиндом Донбасс.

Это насыщенное образами и приправленное лозунгами («Мы ему поможем обрести покой», «Мы подарим каждому…», «Мы покажем к счастью им верную дорогу…») стихотворение можно разбирать пофразово, добираясь до вторых и третьих смыслов, важных скорее для лирического героя и, конечно, самого поэта, а не для читателя.

Буквально в одной первой строфе сосредоточены рефлексия по поводу собственной незначительности в общем — заглушающем твой голос — оркестре, назначенной тебе судьбой унизительной роли, от которой не знаешь как избавиться («Можно ли избавиться враз от контрабаса» — и конечно, это отсылка к «Контрабасу» Зюскинда), апеллирование

к романтическому книжному детству («Сесть за Томом Сойером на воздушный шар») и абсолютно ясное видение катастрофы, совершающейся в настоящий исторический момент.

В последней строфе состояние тревоги и ощущение бессилия доходят до высшей точки, на которую только способен малоэмоциональный (но глубоко чувствующий) герой Торопова. Бессилие явлено тем сильнее, что вместо напрашивающегося восклицательного знака («Что с тобою делает длинный контрабас») поставлена безликая, ничего не выражающая запятая в ряду других. «Колорадским» стих получается из-за американских примет: хот-дог, секс-шоп, хип-хоп; но в том числе из-за нарисованных донбасских картин: как и нашествие колорадских жуков на картофельные поля, они вызывают одновременно ужас и брезгливость.

Нет, лирический герой вовсе не считает, что хлебом и зрелищами можно искоренить «достоевщину» в «кровожадных мальчиках», он не знает, что может сделать (кроме того, чтобы проговаривать мир), а потому — говорит «на своём дурацком», то есть непонятном тем же «кровожадным мальчикам» (и «безбоязно» здесь не равно «смело»).

Заканчивается стихотворение фирменным тороповским приёмом — назвать одно, но иметь в виду другое, поскольку, конечно, не «Контрабас», а другой роман Зюскинда стоит здесь припомнить, и главным образом массовую сцену на площади.

Некоторые стихи из «Мальчика с пятёркой» читаются так, словно они написаны не вчера даже, но сегодня. И тем явственнее предстаёт в них поэт: вовсе не маленький, несмотря на скромную роль, уготованную им своему лирическому герою.

От любви до жалости волосок,
Что туда-сюда двигает весы,
Мир — случайно созданный колобок,
Докатились мы до своей лисы.

Без надежд и просьб сядем ей на нос,
Нашу песенку радостно споём,
С яркой песенкой наших красных слёз
Хорошо с тобой пропадать вдвоём.

<...>

Только мы уйдём даже от лисы,
Пропадём под землю и над землёй,
Мы положим правильно на весы
Свою песенку — волосочек свой.

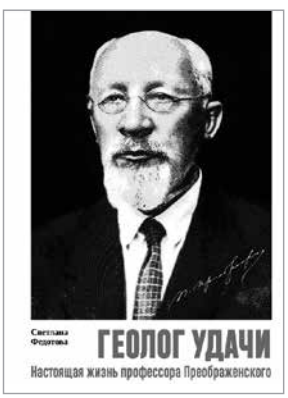
Это последнее стихотворение сборника. Лирический герой совершает невозможное — спасается от мира, которому вот-вот конец, выходит за его пределы («Пропадём под землю и над землёй») с помощью собственной песни. Так актуализируется с новым смыслом легковесное «Чик-чирик — и сразу песня»: подаяние («строчки — словно семечки», «хлебные крошки») оборачивается даром бессмертия. «Есть там весы, нет там весов — там мы, легковесные, перевесим и одолеем» — вспомнится Веничка из «Москвы — Петушков», на которого герой Андрея Торопова, казалось бы, совсем не похож. Не похож, но парадоксально близок ему.

*Андрей Торопов. Мальчик с пятеркой. — М.: Воймега, 2021*

**Алексей Рачунь**

# *Жизнь как роман*

*О книге Светланы Федотовой «Геолог удачи»*




Биография — жанр любимый как читателями, так и авторами. Первых он привлекает возможностью комфортно прожить чужую сложную жизнь, вторых — возможностью развиваться как автор, набивать руку, не утруждая себя муками сюжетостроения.

Поэтому, когда мне в руки попала биография геолога Преображенского, я насторожился. И хотя автором значилась Светлана Федотова, писатель известный, состоявшийся, преодолевать шаблоны, тем более своим же умом созданные шаблоны, дело нелёгкое.

Впрочем, уже название книги — «Геолог удачи» — показалось мне, простите за тавтологию, удачным. Все знакомы с идиомой «Солдат удачи». Так называют наёмников, а если шире — лихих людей, посвятивших себя авантюрным мероприятиям. Ещё шире — это искатели фарта и любимцы фортуны.

А здесь геолог удачи. Казалось бы, нелепость, но нет — авторесса тонко почувствовала главенствующий элемент в сложной жизни исследуемого героя. Ведь удача — это не слепой жребий. Это результат кропотливой работы, неустанный труд, превозмогание обстоятельств, напряжение воли, способность держаться на плаву, чтобы тебя вынесло на шанс или чтобы до него догрести и он тебя подхватил, повлёк, потащил.

А ещё такое название говорит о «романной» составляющей книги. Ведь жанр биографии, в отличие от художественной прозы, вещь подверженная константам, требующая от автора большой точности. Авторской фантазии и эмоциям здесь разгуляться негде, но вот какое дело, в этом суженном донельзя экспериментальном поле и может раскрыться талант автора, ведь, по сути дела, точные сведения и справки необходимо превратить в увлекательное произведение.

Но что название, если содержание ему не соответствует?

Вторая глава книги, «Уроженец Новгородской губернии», с которой, собственно, и берет разбег биографическое повествование, начинается с обзора урожая хлебов на полях Новгородчины. Мы сразу же видим те стылые зяби, из которых произошел Павел Преображенский. Затем картинка меняется, и на ней уже герб волости в виде подковы. И вот из пары деталей получается некое предощущение того, что наш герой, происходя из обычных мест и обстоятельств, уже был предназначен жизни, в которой удаче отведено одно из центральных мест.

Так, двумя мазками автор очерчивает контуры будущего полотна, но пока это лишь этюд, а картиной нам ещё предстоит насладиться.

Далее следуют обязательные для биографии вехи. Детство в Средней Азии, возмужание, юношеские мытарства, учёба в столицах. И здесь тоже не обходится без удачи. Будучи стесненной в средствах семья героя не могла предложить большого выбора для получения фундаментального образования. И наш герой не ропща смиряется с уготованной ему участью и поступает для учёбы не туда, куда хочет, а туда, куда примут.

Держа, впрочем, в уме это не как приговор, а как точку опоры, как возможность поиска шанса. Такое терпение, такая внешняя покорность обстоятельствам и есть то самое умение держаться на плаву, неизменно оборачивающееся спасением. То есть удачей. И всё у героя получается, и вскоре он уже меняет постылый факультет математики в Москве на обучение стипендиатом в Горном институте в Санкт-Петербурге.

И уже как данное мы воспринимаем знакомство героя с Владимиром Обручевым, геологом и писателем, впоследствии автором знаменитого романа «Земля Санникова».

Знакомство это произошло не в кабинетных стенах и не в университетской аудитории, а на полевой практике-подработке в Сибири. Вроде бы, всё идет в канве классической биографии, нам показывают объект исследования именно в том ключе, в каком и должно ему находиться во всякой достойной биографии достойного человека — вот объект в заботах, вот он в трудах, вот он в преодолении трудностей. Вот его сводит судьба с другой выдающейся личностью…

Всё так. Но одновременно с этим густым созвучием эпохальных вех нажимается вдруг одна тихая клавиша другого тона, и звучание текста приобретает выразительность и глубину, и тихий этот звук подсвечивает всё полотно, и одной лишь клавишей выстукивается вдруг всё то же — удача. Так звучит мастерство.

Эта краткая, энергичная глава закрепляет в нашем сознании главного героя больше как человека дела, нежели слова, и мы уже ждём действия, мы всё меньше замечаем, что читаем биографию. Мы увлекаемся не героем, а историей героя.

И вот когда ткань повествования уже, казалось бы, наладилась, неожиданно появляется вставка: записки самого Преображенского, его прямая речь. Они содержат много прекрасного материала, ценных и практических советов. Они снова показывают героя как человека дела, но уже не в действии, а в слове самого героя, и потому такая вставка оправданна. На первый взгляд, она разбивает «романную» составляющую, а на деле действует как некий контрапункт, который её лишь усиливает. А ещё эта вставка бесценна в плане бытописания эпохи, причем из уст главного героя.

Ну а как может очерчивать эпоху автор, можно убедиться далее. В канву истории нас возвращает глава про «втоптанную» дочь П.И. Переображенского Наташу. Так о ней выразились в частной переписке родственники Преображенского. «Всё было при ней, да дети втоптали».

Однако случилось так, что если бы не было этой «втоптанной в быт» дочери Преображенского Натальи Орловой, не случилось бы и этой удивительной книги. Ведь именно Наталья тщательно сохраняла, архивировала свидетельства и артефакты, так или иначе связанные с её отцом. А заодно и с Н.В. Мешковым. Ведь жизни двух этих великих людей, как выясняется дальше, были удивительно связаны.

И вот уже «втоптанная дочь» Преображенского вытаптывает из забвения имя Мешкова. Удивительно, прекрасно очерченная линия. А через выдержки из двух писем самого Преображенского к дочери очерчиваются уже два трагичнейших эпизода в истории нашей страны — Гражданская и Великая Отечественная войны. И это тоже сделано мастерски.

Дальше в книге, конечно, в полной мере раскрываются все перипетии и приключения П.И. Преображенского во время этих двух эпохальных сдвигов, как того требует жанр, но даже если бы всё ограничилось лишь данной главой, читатель бы понял, насколько напряжённое было время и как герой был в него вовлечён.

И таких глав немало, но, дабы не превращать весь текст в панегирик, ограничусь примером. В двух главах рядом сосуществуют «Кровавое воскресенье» и размеренный дачный быт в Финском посёлке — а вместе неразделимые покой и ужас, как непременные характеристики того, что и является жизнью в России во всякий век и всякое время.

Три персональные главы в книге, и множество сведений россыпью, посвящены Николаю Васильевичу Мешкову — воротиле и филантропу, основателю Пермского университета. И сперва может показаться, что в повествовании намечается перекос, автор увлекается другим героем.

Но нет, и здесь всё выверено — ведь Мешков человек той когорты людей, что приумножает всё попадающее в руки. Но не с целью наживы, не из алчности и не из лихого умения — дескать, гляди, как я могу, а потому лишь, что главной своей целью видит приносить пользу. Он идёт к пользе кратчайшим путём и выбирает для этого потребный инструмент.

Таков в книге и Павел Преображенский — для него важнее всего польза. Но инструмент Преображенского — это геологический молоток и знания, а его богатства — недра и просвещение, а инструмент Мешкова — капитал, а богатства — общественное благо.

Дальнейшие главы, посвященные организации в Перми университета, тому, как этот замысел овладел Мешковым, и как он воплощался, тоже, вроде, бы посвящены ему, а на деле подводят нас к тому, каким причудливым извивом судьбы, а на деле удачей, через перипетии Гражданской войны, злоключения и неурядицы, суды и судилища, метания и страдания, опалу и милости оказался в Перми Павел Преображенский.

А ещё они о том, что такое бывает не только в романах, но и в жизни — вдруг в корявых и грубых ручищах истории, страшно и нераздельно, сплетаются, будто две арматурины, такие разные волищи и судьбищи.

Удивительно, но, несмотря на судьбищу, герой книги предстает перед нами не человечищем, а человеком. Этого невозможно достичь, не любя того, о ком пишешь. Вообще, невозможно писать биографию, не любя её объект. К сожалению, многие авторы этим и ограничиваются, забывая о любви к читателю. Героя полюбить легко, а вот читателя сложнее. И тем ценнее направленные на это усилия автора.

Это очень трудно. Но можно. Автору нужно отойти от роли жизнеописателя, сделать протагонистом среду или эпоху, а антагонистом обстоятельства. Так героем становится не объект биографии, а его жизнь.

И вот ведь удивительная штука — жизнь литературного персонажа Юрия Живаго была насыщенной, хотя и донельзя пустой на свершения, и за это её признали достойной Нобелевской премии по литературе. «Геологу удачи» эту премию, конечно, не дадут, хотя жизнь Павла Преображенского была не менее насыщенной, а его дела, его усилия, вся та польза, которую он принёс миру, велика, вещна, весома и ощутима.

Ведь в неё, кроме геологических забот и изысканий золотоносных месторождений, экспедиций, трудов на ниве просвещения и безмерных страданий за верность своим вневременным идеалам, уложились ещё и величайшие открытия — соляных залежей и нефтяных месторождений. Само собой, не без удачи. Но и не без интриг и козней. Эти перипетии составляют отдельный, лихой сюжет, но если героем книги является жизнь, что ж, сюжет вписывается в книгу.

И всё же жизнь человека в книге не задвигает на задний план его самого. В ней есть и место юмору, и место казусам, и всяким забавным случаям, что во многом и составляют живой человеческий портрет. Меня поразила история про экзамен, где студент отвечал на билет по карстам и утверждал, что на гипсах невозможно строительство мостов. А Преображенский наводящими вопросами, приводя в пример Уфимский мост, заставил студента не изменить точку зрения — нет! — но дойти до истины.

Это ещё одно умение автора книги, как бы походя, легко и непринужденно развивать кругозор читателя. И вот мы узнаем, при каких условиях можно строить на гипсах, и теперь мы уже и сами немного геологи! Что слово калий происходит от арабского слова «каль-атли» — зола, справка об академике Губкине вдруг оборачивается обзором существовавших в начале XX века теорий происхождения нефти, а из главы о студенческих годах героя нам теперь известно, что Горный институт в России был основан на деньги нашего земляка, уроженца села Кояново, рудознатца Исмагила Тасимова.

И вроде бы, это необязательные сведения. Вполне можно было бы обойтись без них и читателю, и автору. Читатель и так прошёл бы путь от первой страницы книги до последней, очарованый и личностью, и фантастической жизнью героя. Автор бы сберег силы, время, нервы — всё то, что безмерно тратится всегда, когда при работе над произведением верность делу идёт рука об руку с душой, и все бы остались довольны.

Но без деталей нет мастерства. И похоже, это стиль автора, его особый почерк, тонкой канвой таких незначительных, но информационно ёмких деталей отделывать узор текста. Так искусная мастерица ткёт изумительный узор ковра. Узор был бы и сам по себе, но без канвы это всегда паттерн, а вот выделка и отличает почерк мастера от рядового произведения. Это тот самый профессионализм, который со стороны благодарного читателя оплачивается самой высокой ценой — доверием. Это та грань, что отделяет просто человека пишущего профессионально, просто автора от писателя. От мастера.

Ну а что такое мастерство, как не служение делу? И вот мы закрываем книгу с осознанием сделанного дела. Ведь память о человеке дела благодаря другому человеку дела теперь навсегда с нами.

*Светлана Федотова. Геолог удачи: Настоящая жизнь профессора Преображенского. — Пермь: «Астер Плюс», 2021.*

**Юрий Асланьян** родился в 1955 году в городе Красновишерске Пермского края. Публиковался в журналах и альманахах «Юность», «Огонек», «Смена», «Урал», «Дети Ра», «Пермь третья» и «Лабиринт». Участник антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)». Автор нескольких книг прозы и поэтического сборника «Печорский тракт» (2010).

**Дмитрий Бавильский** родился в 1969 году в Челябинске. Окончил Челябинский государственный университет (1993) и аспирантуру при ЧелГУ (1996) по специальности «зарубежная литература». Как критик и эссеист публиковался в толстых журналах, крупнейших газетах, сетевых и бумажных альманахах. Автор около полутора тысяч статей, интервью и обзоров, посвященных литературе, театру, музыке и изобразительному искусству. Дважды лауреат премии «Нового мира». Автор нескольких книг прозы и эссе. Тексты переведены на английский, болгарский, голландский, немецкий, французский языки.

**Джон Бёрджер** (1926–2017) — английский писатель, поэт, критик, художник. Свою карьеру Бёрджер начал в качестве художника в нескольких галереях Лондона. Преподавая рисование, он стал арт-критиком, публикуя свои эссе и рецензии в журнале New Statesman. В 1972 году за роман «G» получил Букеровскую премию. Стал известен широкой публике в том же году после выхода фильма BBC «Искусство видеть». Девять книг эссе и прозы переведены на русский язык.

**Евгений Вердеревский** (1825–1867) — известный русский писатель. Некоторое время жил в Перми в доме дяди на Монастырской улице, служил чиновником особых поручений при губернаторе, затем уехал на Кавказ. Ему принадлежат сборники «Октавы» (1847); «Стихотворения первой молодости» (1857); «Зурна, закавказский альманах» (Тифлис, 1857), а также книга «От Зауралья до Закавказья» (Москва, 1857). Юмористические, сентиментальные и практические письма с дороги, интересные воспоминания о Перми. Наибольшую известность принесла книга «Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля семейств кн. Орбельяни и кн. Чавчавадзе» (1856 и 1857). Эта повесть издается и в наши дни.

**Ольга Зондберг** родилась в 1972 году. Окончила химический факультет МГУ. Публиковалась в журналах «Арион», «Воздух», «Урал», «©оюз Писателей», сетевом журнале TextOnly, альманахе «Вавилон». Стихи переводились на английский и чешский языки. Переводила современную англоязычную, греческую, украинскую поэзию. Стихи и проза переведены на английский, итальянский и чешский языки. Лауреат Сетевого литературного конкурса «ТЕНЕТА-98». Короткий список Премии Андрея Белого в номинации «Проза» (2014). Автор восьми книг прозы и стихов. Живет в Москве.

**Владимир Кочнев** родился в 1983 году в городе Чайковском Пермского края. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Руководит литературной студией. Один из координаторов регионального поэтического фестиваля «Компрос». Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2007), участник Форумов молодых писателей в Липках и международного фестиваля верлибра (2007). Публиковался в альманахах и журналах «Арион», «Урал», «Сибирские огни», «Топос», «Вещь» и др. Автор четырех книг стихов и прозы. Живет в Перми.

**Андрей Кудрин** родился в 1973 году в Перми. Окончил исторический факультет Пермского государственного педагогического университета. Кандидат социологических наук. Работал преподавателем в ПГУ. Автор научных работ по социологии и истории. В настоящее время независимый исследователь. Сфера научных интересов: политология, социология, история партизанских выступлений в годы первой русской революции, история Гражданской войны на Урале.

**Яна Полевич** (настоящее имя Ульяна Кучина) родилась в Перми в 2003 году. Учится в УрГАХУ на специальности «градостроительство». Публиковалась в журналах «Вещь», «Луч», «Флаги», а также на интернет-портале «полутона». Участница всероссийского поэтического слэма и Лаборатории медиапоэзии 101, обладательница специального приза жюри VI ежегодного поэтического конкурса «Поколение новой России» в номинации «Создание поэтического образа». Живёт в Екатеринбурге.

**Алексей Рачунь** родился в 1976 году в городе Кунгуре Пермской области. Окончил Кунгурский сельскохозяйственный колледж по специальности «юрист в области сельского хозяйства» (1996). Публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», интернет-газете «Lenta.ru», журналах «Великороссъ», «Парус» и «Эмигрантская лира». Лауреат литературного конкурса им. Каверина (2012) и литературной премии «ДИАС» (2021). Автор травелога «Почему Мангышлак» (НЛО, 2022), соавтор путеводителей «В сердце пармы» и «Железный пояс». Живет в Перми.

**Андрей Сен-Сеньков** родился в 1968 году в Таджикистане. Окончил Ярославскую медицинскую академию. Автор тринадцати книг стихов, малой прозы и визуальной поэзии. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (2006), Премии Андрея Белого (2018). Стихи переведены на 25 языков, книги избранных стихотворений выходили в США (премия американского ПЕН-клуба за лучшую переводную поэтическую книгу года), Сербии, Италии и Нидерландах.

**Аглая Соловьева** родилась в 1985 году в Кирове. Лауреат премии «Неформат» (Москва, 2008), фестивалей «Узнай поэта» (Пермь 2009, 2010), «СловоNOVA» (Пермь, 2012) и Волошинского конкурса (Коктебель, 2016). Участница слэмов в Москве и других городах. Автор четырех книг стихов. Живет в Кирове.

**Дарья Хомутова** родилась в 1987 году в городе Березники. Окончила философский факультет Пермского государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию по истории философии. Работает на кафедре философии и права в ПНИПУ. Ранее не публиковалась. Живет в Перми.

**Андрей Черкасов** родился в Челябинске в 1987 году. Окончил Литературный институт (семинар Евгения Сидорова). Публиковался в журналах «Воздух», «Волга», «Новый мир». Финалист премии «ЛитератуРРентген» в Главной номинации (2008, 2009, 2011), шорт-лист Премии Русского Гулливера (2014), шорт-лист Премии Андрея Белого (2015, 2019). Автор пяти поэтических книг. В 2020 году основал издательство «всего ничего». Живет в Москве.

**Марта Шарлай** родилась в 1980 году в городе Галле (Германия). Заочно окончила филологический факультет УрГУ им. А. М. Горького, кафедра русской литературы XX века (2005). Работала корректором и редактором в издательстве «У-Фактория». Автор критических статей о современной поэзии, опубликованных в журнале «Урал», «Вещь» и «Чаша круговая». Опубликовала три романа: «История Сванте Свантесона, рассказанная Кристель Зонг» (2014), «Лени Фэнгер из Небельфельда» (2015), «Адам вспоминает» (2015). Живёт в Екатеринбурге.

**Борис Эренбург** родился на Алтае, переехал в Пермь в возрасте семи лет. Учился в Пермском университете на физическом и филологическом факультетах. В начале двухтысячных начал заниматься издательским делом. Автор поэтического сборника «Синдерелла» (2010) и монографии-альбома «Звериный стиль» (2014).

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2022. — 124 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Марина Артемова

Иллюстрации из книги С. В. Розов. Курс черчения. — М.: Машгиз, 1956

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com

18+

**Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Пермского края**

© «Вещь», 2022
© Авторы, 2022
© Издательство «Сенатор», 2022